



*Рассказ*

# МИЛОСЕРДИЕ

---

Написан в PromptyFlow из голосовой надиктовки автора — без  
единой правки человеком



PromptyFlow

# О тексте

«Милосердие» — социальная фантастика в традиции Стругацких, Лема и Брэдбери. Семь сцен, 68 тысяч знаков.

Рассказ написан в **PromptyFlow** автоматически. На входе — голосовая надиктовка автора: 28 тысяч знаков живой речи, со всеми «э-э», повторами и оговорками. Агент собрал из неё канон романа: героев, места, правила мира, руководство по стилю. ИИ построил сюжет и план сцен. Автомат написал все сцены по плану, одну за другой, и после каждой обновлял память романа.

Автор только одобрял этапы. Ни одного промпта, ни одной правки руками: текст сцен — в точности такой, каким его выдали модели.

**Исходная надиктовка напечатана в конце книги, как есть. Сравните вход и выход.**

---

|                                         |                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ПРОЗА                                   | Claude Fable 5                                                            |
| ЗАМЫСЕЛ, ПОСТАНОВКА,<br>ПРОВЕРКИ, АГЕНТ | Claude Opus 5                                                             |
| ИЛЛЮСТРАЦИИ                             | созданы в PromptyFlow (GPT Image 2) к английской версии рассказа, «Mercy» |
| СБОРКА ПРОДУКТА                         | prod-20260823, 23 августа 2026                                            |

[promptyflow.com](https://promptyflow.com)

# Содержание

|   |                                       |    |
|---|---------------------------------------|----|
| 1 | Встреча у леса .....                  | 4  |
| 2 | Урок о ненависти .....                | 11 |
| 3 | Разговор о статусе .....              | 17 |
| 4 | Разрешение отца .....                 | 25 |
| 5 | Регистрация у инспектора .....        | 32 |
| 6 | Стычка на мостовой .....              | 38 |
| 7 | Рука у трапа .....                    | 46 |
|   | Приложение. Исходная надиктовка ..... | 52 |

*Сцена первая*

## Встреча у леса



С работы я возвращался поздно, и последняя часть дороги шла краем большого леса. Дорога там пустая, фонарей нет — их обещали поставить ещё к прошлой зиме, потом к этой, а пока темнеет рано, и идёшь по памяти, по светлой полосе укатанной земли между кюветом и деревьями. Я ходил тут каждый вечер и знал эту полосу наизусть: где лужа держится до середины лета, где корень выпирает поперёк, где от лавки на перекрёстке остаётся за спиной последний жёлтый свет. Сумка с тетрадями оттягивала плечо, я перекидывал её с боку на бок и думал о приятном — что край наш понемногу поднимается, что

через два дома от моего наконец обещали разобрать пустой обгорелый сруб, стоявший так с самой войны, и что жить с каждым годом делается ровнее. Я всегда любил родину и ненавидел айсов; про это думать было спокойно, как трогать языком здоровый зуб. За лесом порядка нет, туда патрули не ходят, там пусть живёт кто хочет — а здесь, по эту сторону, всё стояло на своих местах, и я шёл среди этого своего, насвистывая.

Её я увидел шагов за двадцать — светлое пятно под деревом у самой обочины, там, где никакого пятна быть не полагалось. Я замедлил шаг, потом подошёл. Под деревом сидела девушка. Сидела она на земле, привалившись спиной к стволу, одну руку прижимала к голове, и между пальцами у неё было тёмное. Одета она была странно: цельный комбинезон с молнией от горла до пояса, из плотной серой ткани, — такой одежды я не видел ни на ком и никогда. Ткань была порвана на плече и на боку, края дыр обгорели и закрутились. Она подняла на меня лицо. Из рассечённого виска текла кровь, уже подсохшая дорожкой на скуле и свежая поверх, и она смотрела на меня снизу вверх, не мигая.

— Ты чья? — спросил я.

Она смотрела.

— Откуда ты? Что с тобой?

Она смотрела по-прежнему, потом улыбнулась — растерянно, краем рта, как улыбаются, когда не расслышали и переспросить стесняются. Я присел на корточки, чтобы быть с ней вровень, и спросил в третий раз, медленно, по словам. С тем же успехом я мог спрашивать дерево.

Тут всё и сложилось, само и сразу. Айс — а кто же ещё; за лесом их живёт сколько угодно, в разорённых посёлках и по развалинам, и оттуда они иногда выходят к людям. Вышла, заблудилась, кто-то её встретил недобрый — ударили по голове, отобрали, наверное, что было, — вот и сидит, и речи не понимает. Меня, правда, чуть царапнуло, что она не понимает совсем: обычно они хоть

как-то по-нашему говорят, хоть десяток слов у любого найдётся. Но с разбитой головой чего не бывает; удар был по виску, а от такого удара, я слышал, люди и своё имя забывают. Объяснение вышло гладкое, всё в него легло, и дальше я думал уже про другое — что мне теперь с ней делать.

Что полагается делать, я знал. Телефон висел у лавки на перекрёстке, пять минут назад я прошёл мимо его будки под жёлтой лампой; десять минут туда, назвать место — и всё дальнейшее сделали бы за меня, аккуратно и по порядку, как оно делается. Я стоял над ней и прикидывал эти десять минут. По вечерам тут не ходит никто, но это по вечерам никто, а стоит случиться чему-нибудь — и прохожий найдётся непременно, так уж устроено. И этот прохожий увидит меня, стоящего в темноте над девчонкой с разбитой головой, и уж он-то звонить побежит бегом, и рассказывать будет не про неё. А если я уйду звонить, а её тем временем подберёт патруль — выйдет то же самое, только хуже: спросят, кто тут прошёл до них, дорога-то одна, и ходит по ней, считай, один я. Как ни поверни, выходило, что оставлять её здесь нельзя. К тому же — и это, пожалуй, было главное — мне стало её жалко. Она сидела в своём горелом тряпье, держалась за голову и улыбалась мне, как улыбаются те, кому уже всё равно, кто подошёл, лишь бы не бил. Бросить такую в темноте у леса — это надо не иметь сердца, а я всегда считал, что сердце у меня есть.

Я протянул ей руку. Она посмотрела на ладонь, потом мне в лицо, положила свою руку в мою — пальцы у неё были холодные и в засохшей крови — и встала, послушно и сразу, будто мы с ней обо всём договорились заранее. Её тут же повело в сторону, я подхватил под локоть. Так, под локоть, я её и повёл.

Повёл я её не улицей, а задами: через пустырь за старыми складами, вдоль заборов, мимо тёмных огородов. Так было короче, сказал я себе, и почти не соврал — короче выходило шагов на сто. Шли мы медленно, она переставляла ноги старательно и ровно,

как по льду, а я слушал темноту вокруг. Где-то впереди хлопнула дверь, я придержал её за локоть, и мы постояли под чьим-то забором, пока не стало опять тихо. В одном дворе брякнула цепь; мы переждали и это. Своими задворками я не ходил, наверное, с детства и половину заборов не узнавал. Дом мой стоит последним к лесу, окнами на дорогу; мы обошли его с тыла, и щеколду калитки я придержал пальцем, чтобы не звякнула.

В доме я верхнего света зажигать не стал — задёрнул на кухне занавеску и включил лампу над столом. Усадил её на табурет, поставил греться воду и первым делом занялся головой. Волосы у виска слиплись от крови, я отмачивал их тёплой водой, отводил прядь за прядью, пока не открылось само рассечение — длиной в палец, с ровными краями, уже почти не кровившее. На вид было скверно, крови натекло на пол-лица, но, промыв, я увидел, что неглубоко: кость цела, края сходятся. Я промыл ещё раз, наложил мазь из домашней коробки с бинтами и обвязал ей голову — вышло толсто и криво, но держалось. Она за всё это время не дёрнулась ни разу. Сидела прямо, руки на коленях, и смотрела — сначала на мои руки, потом мне в лицо, спокойно и внимательно, и опять на руки. Вообще-то за такой взгляд положено сердиться: айс в лицо человеку не смотрит, это ему объяснять не надо, это они понимают раньше, чем ходить начинают. Но она смотрела так бесхитростно, что сердиться было не на что — так смотрит малыш, которому подстригают ногти. С головой у неё, видно, было хуже, чем казалось по ране: всё забыла, и слова, и как себя держать. Тем более, значит, правильно, что я её не оставил у дороги.

Говорил я с ней всё это время не переставая. Понимать она не понимала, и оттого говорилось легко, как с самим собой: сейчас, мол, промоем, потерпи, вот и всё, вот и умница. Потом я ткнул себя пальцем в грудь и сказал:

— Рэй.

Она смотрела. Я повторил, постучал по груди ещё раз: Рэй. Показал на неё, подождал. Она молчала. Ну да, откуда — она и своего-то имени, поди, не помнила. А звать её как-то было надо, без имени в доме живой человек не живёт.

— Ты будешь Лея, — сказал я и показал на неё пальцем. — Лея.

— Лэйя, — сказала она вдруг. Голос у неё оказался низкий и ровный, а выговор чужой, круглый, ни на что не похожий. — Рэй.

— Ну вот, — сказал я. — Вот и познакомились.

Это было первое, что у нас с ней получилось вместе, и я, честно сказать, обрадовался как мальчишка.

Дальше всё пошло само, дело за делом, как идёт по дому любая работа. Тряпье её никуда не годилось: горелое, рваное, в грязи и крови. Я взялся за молнию у её горла — тут она в первый раз за вечер удивилась: подалась назад, накрыла мою руку своей и секунду держала, глядя мне в глаза. Потом руку убрала и опустила плечи, и я стянул с неё комбинезон, приговаривая, что грязное — снять, что будет чистое. Под комбинезоном она была худая, в ссадинах по левому боку — там, где ткань прогорела, — но целая. Я отвернулся налить воды погорячее раньше, чем надо было, и лил её дольше, чем надо было. Потом отвёл её в ванную и отмыл всю, как отмывают ребёнка, вернувшегося из канавы: шею, уши, руки в копоты по локоть, спутанные волосы, стараясь не мочить повязку. Она стояла смирно, поворачивалась под моей рукой куда велят и один раз, когда тёплая вода пошла по спине, вздохнула глубоко, всей грудью. Из одежды я нашёл ей свою рубашку, в которой она утонула до колен, и штаны, которые пришлось подвернуть вдвое и подвязать. Комбинезон я, уже сворачивая, повертел в руках: ткань на ощупь была тонкая, как рубашечная, а порвать её пальцами у меня не вышло даже за горелый край, и застёжка-молния была без единого зубца, гладкая, а держала намертво. Делают же где-то такое, подумал я, свернул его потуже и убрал в чулан под лестницей, за пустые банки, подальше с глаз.

Потом я её накормил. Разогрел вчерашнюю похлёбку, нарезал хлеба, налил чаю. Ела она голодно — по тому, как она держала первую ложку, было видно, что не ела давно и сильно, — но опрятно, не спеша, над тарелкой не сгибалась и ни крошки не уронила. Доев, отодвинула тарелку, посмотрела на меня и медленно опустила веки — раз, другой. Спасибо это у неё было, что ли; я решил, что спасибо, и сказал: на здоровье.



К ночи я отвёл её наверх, в спальню, откинул одеяло, взбил подушку, показал рукой: спи. Она села на кровать и смотрела, как я задёргиваю штору. Я пожелал ей доброй ночи, вышел и запер дверь снаружи на ключ. Тут всё было просто, и я себе это тут же по порядку изложил: она нигде не учтена, языка не знает, порядков не знает; выйди она ночью из дома — первый же патруль возьмёт её до рассвета, а к обеду придут уже ко мне и спросят, откуда у неё моя рубашка. Запертая дверь берегла нас обоих, её в первую очередь. Ключ я положил в карман, постоял на площадке, послу-

шал. За дверью было тихо: ни шагов, ни скрипа, ни плача. Умница, подумал я и пошёл вниз.

Спал я плохо. Дважды вставал к окну: сначала по дороге прошли двое, громко и весело разговаривая, и я стоял за занавеской, пока голоса не стихли к перекрёстку; потом где-то стукнула калитка, и я опять стоял и слушал, и улица лежала пустая от угла до угла. Наверху за всю ночь не раздалось ни звука. Под утро я всё-таки уснул и проснулся от собственного будильника с тяжёлой головой, но с ясной мыслью: ночь прошла, никто не пришёл, значит, никто ничего не видел, значит, я всё рассчитал верно.

Утром я отнёс наверх воду, хлеб и остаток похлёбки в миске. Отпер тихо, заглянул: она спала, отвернувшись к стене, повязка на месте, дышала ровно. Я поставил всё на стул у кровати, вышел и запер снова. Внизу собрал сумку — тетради так и лежали с вечера непроверенные, первый раз за всё время; ладно, сказал я себе, проверю в перерыв. На крыльце я запер входную дверь на оба оборота, чего не делал никогда, подёргал ручку и пошёл.

Утро было ясное, дорога знакомая. У перекрёстка, возле лавки, я прошёл мимо телефонной будки и мельком, сам не зная зачем, посмотрел на неё — стоит и стоит, облезлая, с жёлтой лампой, погашенной на день. До первого урока оставался почти час, я шагал ходко, и всё было как всегда, только сумка казалась тяжелее обычного, и где-то под ложечкой сидело со вчерашнего вечера что-то невыспавшееся, тянущее, чему я не подобрал названия и решил, что это от плохой ночи. Весь этот час, и весь день, который начинался, дом мой стоял у меня за спиной запертый на два оборота, и в нём спала она.

*Сцена вторая*

## Урок о ненависти



**Ш**естой класс стоял у меня в тот день третьим уроком. Первые два прошли обыкновенно, как проходят уроки, когда учитель не выпался: я говорил, спрашивал, ставил отметки, и всё это делалось само, как ходьба по знакомой дороге. В учительской на перемене я выпил стакан чаю, к сумке с тетрадями не притронулся — решил, что займусь ими на большой перемене, — и пошёл на третий этаж, где у шестых свой коридор и свои дежурные у окна, по двое, как положено.

Шестой класс у нас экспериментальный. Это значит, что детям в нём позволено спрашивать чуть больше, чем в обычных,

и что учителю за это чуть больше платят терпением. Я свой класс любил. Они читали вперёд программы, спорили друг с другом на переменах о прочитанном и смотрели на меня так, будто я знаю всё, — а это, что ни говори, приятно, когда на тебя так смотрят тридцать человек сразу.

Урок был история с обществоведением, параграф о восстановлении края. Класс стоял светлый, солнце заходило в окна косо, и в его полосах висела меловая пыль. Я вызвал двоих пересказать заданное, оба пересказали складно, я поставил отметки и открыл журнал, чтобы записать тему. И тут поднялась рука.

Рука была Дана. Дан у меня лучший — из тех, кто к середине года дочитывает учебник до конца и приходит спрашивать, что читать дальше. Я кивнул ему, ожидая вопроса про параграф.

— А айсы у нас в государстве — кто? — спросил Дан.

Я не сразу понял вопрос и переспросил.

— Ну вот в параграфе, — сказал Дан и открыл учебник на заложенном месте, он всегда закладывал. — Тут написано: родина заботится о каждом, кто живёт на её земле. Айсы живут на её земле. Про них тут где?

Я ещё стоял с журналом в руке, когда с третьей парты, без руки, вступил Ольд:

— И кто решил, что они не считаются? Это когда решили, после войны сразу?

А из третьего ряда, у окна, девочка — тихая, я за полгода от неё десяти слов не слышал — спросила негромко, но в полной уже тишине:

— Если они не люди, то они кто?

И класс повернулся ко мне. Весь, тридцать лиц. Они спрашивали честно — вот что надо понимать про мой класс. Ни усмешки в них не было, ни подначки; они хотели, чтобы я ответил, потому что я учитель и знаю всё. Смутьяна можно осадить и жить дальше, а этих осаживать было не за что.

Внутри у меня на секунду сделалось пусто, как бывает, когда шагнёшь на ступеньку, а ступеньки нет. Я отнёс это на счёт плохой ночи — я и вправду спал скверно и дважды вставал. Секунда, впрочем, была одна, и снаружи её никто не заметил, а замечать было кому: дверь в коридор у нас неплотная, дежурные стоят у самого косяка, и как оно заведено, знают все, включая самих шести-классников, — учитель, замаявшийся на таком вопросе, к вечеру делается разговором в учительской, а назавтра разговором этажом выше. Никто тут не злой, просто так устроено, и устроено правильно.

Я закрыл журнал, положил его на стол и вышел из-за стола к окну, потому что такие вещи говорятся стоя.

— Хорошо, что спросили, — сказал я. — Это как раз по теме. Кто из вас видел горелые дома? Руки.

Руки поднялись все. У нас на любой улице к окраине найдётся такой дом, а то и два.

— Через два дома от моего стоит сруб, — сказал я. — Горелый, пустой. Стоит столько, сколько я там живу. Его только в этом году обещали разобрать. Вопрос: сколько лет прошло с войны? Дан.

— Пятнадцать, — сказал Дан.

— Пятнадцать, — сказал я. — Война кончилась за два года до вашего рождения, и за пятнадцать лет край не разобрал своих развалин. Вот что такое была эта война. Я не буду рассказывать вам, что айсы делали на нашей земле, — это вам в старших классах прочтут, и я вам заранее скажу: читать это тяжело. Я скажу короче. После такого не спрашивают, кто решил и когда. Это решила сама война.

Класс слушал. Ольд открыл было рот, и я поднял ладонь — пожди.

— Теперь про заботу, — сказал я. — В параграфе написано верно: родина заботится о каждом. Но прочтите фразу целиком, там сказано — о каждом из своих. Родина — это её люди. Люди —

это граждане государства. Айсы гражданами не были и не будут, они побеждённый враг, который остался жить на нашей земле, потому что своей у него больше нет. Забота государства на них не распространяется и распространяться не может — таково право победителей. Это, — я повернулся к третьему ряду, — и есть ответ на твой вопрос. Они враг. Побеждённый враг, только и всего.

Девочка у окна смотрела на меня и не записывала, хотя обычно записывала за мной всё.

— А долг тут вот при чём, — продолжал я, проходя вдоль ряда, как хожу всегда, когда объясняю. — Любить родину и ненавидеть её врагов — это у гражданина долг. Право можно осуществлять, а можно нет, долг исполняют. И когда кому-нибудь из вас сделается жалко айса — а это бывает, они умеют глядеть жалко, — вспомните, что у половины из вас в семьях кто-то не вернулся. Пожалеть того врага — значит обокрасть своих. Жалость тут есть не благодарность, и запомните это накрепко.

Говорилось мне легко. Слова стояли в правильном порядке, как стоят они в параграфе, голос шёл ровно, назидательно, я слышал его как бы со стороны и одобрял. И посреди этой гладкой речи я обнаружил, что правая моя рука держит левое предплечье — стиснула через рукав, там, где у меня чешется, старое чешется всегда не вовремя, — и пальцы сжаты так, что рукав смялся в горсти. Я разжал их, не сбившись со слова, и заложил обе руки за спину, как и подобает стоять учителю.

А в голове у меня в это самое время, поверх собственного голоса, стояла комната. Верхняя комната с задёрнутой шторой, стул у кровати, миска на стуле, и то, как она вчера, доев, отодвинула тарелку и медленно опустила веки — раз и другой. Я прогнал это, как прогоняют муху с бумаги, и сказал громче, уже от доски:

— Открыли параграф. Пишем тему.

И продиктовал тему, и они склонились и записали, все тридцать голов разом, и по классу пошёл ровный шорох. Больше в тот

урок рука не поднялась ни одна. Дети вообще понимают такие вещи быстро, куда быстрее взрослых: где кончаются вопросы, им не надо объявлять, они слышат это по воздуху. Я спрашивал параграфа, они отвечали, отметки легли в журнал ровной строчкой. Только девочка из третьего ряда нет-нет да поднимала на меня глаза от тетради и держала их на мне дольше, чем нужно, чтобы списать с доски. Я мельком подумал: не проскочило ли у меня в голосе чего-нибудь лишнего, какой-нибудь трещинки, которую вот такие тихие слышат раньше всех. Прислушался к себе — голос как голос, всё на месте. Значит, показалось, значит, просто смотрит; есть такие дети, которые смотрят. Звонок я встретил на середине фразы, договорил её до точки, задал на дом и отпустил класс, как отпускаю всегда, — рядами, не толпой.

На большой перемене я сел в учительской в своём углу и вынул тетради. Верхнюю открыл, положил перед собой красный карандаш. В тетради было упражнение, знакомый круглый почерк, ошибка в третьей строке — я её видел, ошибку, и карандаша не взял. Сидел и слушал, как за столом у окна двое наших обсуждают расписание, как внизу гудит перемена, как хлопает дверь. Чего я слушал, я бы не сказал; наверное, ничего. Перед звонком я сложил тетради обратно в сумку — первый раз в жизни они у меня переночевали неуправленными и поехали неуправленными назад. Я пообещал себе вечер: вечером сяду и разберу все разом, дело нехитрое.

Оставшиеся уроки прошли гладко, у младших про айсов не спрашивают, у младших спрашивают, можно ли выйти. День протянулся до конца обыкновенно; никто меня никуда не вызывал, и в коридоре со мной здоровались как всегда. Выходя, я расписался в журнале ухода, и завуч кивнула мне поверх очков, доброжелательно, как кивают человеку, про которого нечего думать.

Домой я шёл своей дорогой, уже в косом вечернем свете. У перекрёстка стояла лавка, перед ней будка с телефоном, лампа над

будкой не горела — её гасят на день. Я прошёл мимо, перебирая в уме урок, как перебирают сдачу в кармане. Всё было сказано верно, слово к слову: и про войну, и про долг, и про заботу, которая на врага не распространяется. Так это в программе, так это в жизни, и хорошо, что спросили у меня, а кто-нибудь другой ещё замялся бы, глядишь, и вышла бы из этого история. Я не замялся. С таким классом надо уметь, и я, выходит, умею.

Под ложечкой между тем опять сосало — то самое, вчерашнее, тянущее. За уроками оно молчало, а на дороге объявилось и тянуло теперь явственно, шаг за шагом. Я сообразил, что толком не обедал: чай утром да чай в перерыв, вот и весь мой день. От голода оно и есть, решил я, дома поем.

И с этой мысли шаг у меня сам собой пошёл шире. Дом стоял с утра запертый, а в доме она — весь день одна, за ключом, который я вот сейчас трогал в кармане сквозь подкладку. Поела ли, что там у неё с повязкой, не испугалась ли чего в чужих стенах — этого я знать не мог, а знать был обязан: кто взял в дом живое существо, тот за него и отвечает, это правило простое, оно годится на собаку, на ребёнка и на подобранного айса одинаково. Оттого я и торопился — по обязанности. Последний кусок дороги, вдоль заборов к окраине, я прошёл так ходко, как не хожу и утром, и у своей калитки заставил себя выдохнуть и оглядеться. Улица лежала обычная, вечерняя: у соседей стучали посудой, где-то за огородами кричала птица, сруб через два дома чернел, как чернел всегда. Никого.

Я поднялся на крыльцо, поставил сумку у ноги и достал ключи. Наружный вошёл в скважину туго, я повернул его — один оборот, потом второй, снимая оба утренних, — и замок отдал мне дверь.

### Сцена третья

## Разговор о статусе



**К** концу недели вечера у нас в доме сложились в свой порядок, и порядок этот был хороший. Я возвращался с работы в сумерках, отпирал оба оборота — днём дом стоял запертый, это уж как заведено, — и ещё с порога слышал, что в кухне живёт человек: стукнет крышка, звякнет ложка о край кастрюли. К моему приходу она разогревала еду и ставила чай. Чай у неё выходил лучше моего; я заваривал те же самые листья из той же жестянки, а выходило хуже, и я так и не подглядел, что она с ним делает. Посуда стояла вымытая, пол выметен, рубашки мои, которые я сроду бросал на стул, лежали сложенные ровной стопкой.

Первые дни я говорил ей «не надо, сам», потом перестал: ей, видно, нравилось, а дому шло на пользу.

Висок её за неделю затянулся. Повязку я снял на четвёртый день, ещё дважды мазал на ночь, а теперь остался только рубец — розовый, ровный, под волосами его было и не найти, если не знать, где искать. Я знал и, проходя мимо, косился: чисто заживает, аккуратно. Ел я теперь не один, и это оказалось приятнее, чем можно было думать. В лавке я брал хлеба вдвое против прежнего; лавочница ни разу не спросила, куда мне столько, да и что тут спрашивать — ест человек, и хорошо.

После ужина шёл урок. Я ещё в начале недели взял из школьного шкафа три книжки для самых маленьких — толстые страницы, на странице картинка, под картинкой слово, — и по ним мы сидели каждый вечер под лампой. Учить её было удовольствие, и удовольствие особое, какого я в классе давно не имел: в классе тынешь тридцать человек, и десять из них глядят в окно, а тут напротив сидел один человек и брал всё. Слово она повторяла дважды, второй раз чище первого, поправляла себя сама, сама листала вперёд, и мне уже не раз нечего было ей подложить — страницы кончались раньше её. За неделю она говорила фразами. Ломано, с этим её круглым выговором, путая падежи, но фразами, и я не поспевал этому радоваться как следует: так быстро не учатся, я учитель, я знаю, как учатся. Голова у неё, стало быть, заживала, и заживала на диво; так я себе это объяснил, и объяснение было доброе.

В тот вечер всё началось как всегда. Занавеска задёрнута, лампа над столом, чай налит, сбоку лежала моя стопка тетрадей, до которых я собирался дойти после урока. Книжка была раскрыта на развороте с двором: дом, колодец, ведро, птица на заборе. Она вела пальцем от картинки к картинке:

— Дом. Колодец. Ведро. Ведро опускают в колодец. Птица сидит на... на заборе.

— Верно, — сказал я. — Всё верно.

Она перелистнула страницу, потом ещё, дошла до конца — конец у таких книжек настанёт быстро — и закрыла её, положив ладонь на обложку. И спросила ровно, своим низким голосом:

— Рэй. Кто живёт за забором? Там. — Она повела подбородком на занавешенное окно.

— Соседи, — сказал я охотно. — Справа старик с дочерью, у них огород до самой канавы. Слева семья, двое маленьких. Обыкновенные люди, тихие.

— Днём по улице ходит человек в одинаковой одежде. Я видела в окно. Почему он ходит?

— Это патруль. Одинаковая одежда называется форма. Они смотрят за порядком, чтобы никто не безобразничал. Так везде.

Она кивнула — так же, как кивала новым словам, принимая их на место.

— Дом через два дома — чёрный. Горелый. Почему его никто не чинит?

— С войны стоит, — сказал я уже короче. — Руки не дошли. В этом году обещали разобрать.

Про войну она не переспросила, а я ждал, что переспросит, и уже прикидывал, как сказать попроще. Она помолчала, провела пальцем по краю обложки, где обтрепался картон, и спросила:

— Вчера человек в форме остановил на улице человека. Тот показал ему бумагу, и его отпустили. Я видела. Что бывает, если бумаги нет?

Ответ у меня был. Для класса был: документ удостоверяет гражданина, у кого при себе нет — выяснят личность, делов-то. Я открыл рот и услышал, что говорю:

— Ну, смотря... выяснят, кто таков, и...

И осёкся, потому что дальше ответ у меня расходился надвое, и та половина, которая годилась бы ей, не выговаривалась за этим

столом, над этой книжкой с ведром и птицей. Я взял свой стакан, отпил остывшего.

— Хватит на сегодня, — сказал я, и вышло резче, чем я хотел. Сердиться было не на что: спрашивала она, как спрашивала всё, ровно, без задней мысли. Оттого, наверное, и взяло.

Она ждала, сложив руки на закрытой книжке, и смотрела на меня. И тут я увидел то, что стояло у меня перед глазами всю неделю и чего я ни разу не счёл. Она смотрела мне в глаза. Спокойно, прямо, не мигая — как смотрела в первый вечер под деревом, как смотрела над тарелкой, как смотрела сейчас: так, как смотрят на равного, когда ждут ответа. За моим столом, под моей лампой это было ничего. А теперь поставь её с этим взглядом на улицу, напротив первого же патрульного, — и всё, и одного вечера хватит, и никакой рубец под волосами ей не поможет, потому что патрульный по глазам её прочтёт раньше, чем она рот откроет.

Я отставил стакан, собрал все три книжки, сложил одну на другую и отодвинул на край стола.

— Теперь слушай, — сказал я. — Будет другой урок. Он важнее этих.

Голос у меня сам собой встал на назидательный лад — тот, каким я объясняю в классе; другого голоса для таких вещей у меня нет, да другой тут и не нужен.

Я начал с войны. Что была война, давно, пятнадцать лет, и что её выиграли мы. Что народ, который её проиграл, называется айсы, и что она — айс. Тут я подождал: переспросит ли, дрогнет ли. Она сидела прямо, руки на коленях, и слушала. Я сказал, что государства у айсов больше нет и земли своей нет, что живут они на нашей, потому что больше нигде, и живут не как мы. Что люди — это граждане, а айсы гражданами не были и не будут. Что по закону она не человек — я произнёс это так же ровно, как диктую в классе тему, потому что говорить такое иначе не умею, — и

что забота, какая положена людям, на неё не распространяется. Никакая и ничья.

— Из этого есть правила, — сказал я. — Их немного, и ты их выучишь, как учишь слова. Первое: в глаза людям не смотри. Никому, никогда. Вниз, в землю, в сторону — куда хочешь. Прямой взгляд айса человека злит, а злить тебе нельзя никого.

Глаза она опустила сразу — на середине моей фразы, не дослушав до точки. Просто убрала взгляд, как убирают руку с горячего: не втянула головы, не ссутулилась, ничего в ней не поменялось, кроме глаз. И то, как быстро и как точно это у неё вышло, меня царапнуло — а чем, я разбирать не стал, урок был не кончен.

Второе, сказал я: первой не заговаривай ни с кем и никогда, спросят — отвечай коротко и тихо. Третье: со двора ни шагу, а лучше и во двор пока не надо, окна и без того есть у всех. Четвёртое: держись так, чтобы тебя не запоминали. Тише всех, незаметнее всех, в самой серёдке — есть такая манера стоять и ходить, чтобы взгляд по тебе проезжал не цепляясь, и она у ваших в крови, сказал я, вспомнишь — само найдётся. И последнее: меня она слушается во всём и беспрекословно. Что скажу — делает, чего не велю — не делает, спрашивать «почему» можно здесь, за столом, и нельзя больше нигде. Я объяснил и это, чтобы она не думала про меня дурного: зла я ей не желаю, она видела сама, какого я ей желаю зла, — я ей голову лечил и хлеб на неё беру. Порядок выдумал тоже не я, порядок стоял до меня. А слушаться меня надо потому, что ослушается — и её не станет. Просто не станет, и всё.

— У всего этого есть слово, — сказал я. — Хозяин. Я — твой хозяин. Скажи.

— Хозяин, — сказала она. Круглый её выговор обкатал и это слово. — Ты мой хозяин.

— Так. Это слово запомни накрепко. Оно тебя будет беречь.

Потом я рассказал ей про учёт. Что всякий айс, который живёт при человеке, записан, и бумага на него есть, а на неё бумаги нет, она нигде не записана. Что за незаписанными приезжает санитарная служба — я так и сказал, санитарная служба, слово как слово, — забирает и увозит, а куда увозит, ей знать незачем, и мне, признаться, тоже. И что тому, кто держит у себя незаписанного, за это тоже не скажут спасибо, — это я прибавил мягче и мимоходом, потому что это уже была моя забота, а свои заботы я на неё вешать не собирался.

Где-то на санитарной службе я увидел, что она плачет. При опущенных-то глазах это видно плохо, я и не сразу поймал: блеснуло на скуле в свете лампы, потом капля дошла до подбородка, повисела и сорвалась на воротник моей старой рубашки. Она не всхлипнула ни разу. Не подняла рук к лицу, не отвернулась, сидела всё так же прямо, руки на коленях, и слёзы шли у неё сами по себе, тихо, как идёт вода по стеклу, а голоса при них никакого не было. Я договорил до конца — бросать наставление на середине было бы только хуже, недоученное правило опаснее несказанного. Потом стало тихо. Часы у меня в доме не тикают, нет часов; было слышно, как остывает и потрескивает лампа.



— Я так думала, — сказала она наконец. Голос стоял ровный, ниже обычного, и только дыхание под ним было короче, чем всегда. — Почти так. Дверь на ключ. Ты не отвечал. Я спрашивала — ты не отвечал. Я складывала одно к одному. — Она помолчала. — Спасибо, Рэй. Что сказал.

Я кивнул, хотя она и не глядела. Потом она спросила — единственное, что она спросила за весь этот урок:

— А здесь? В доме. На тебя мне тоже нельзя смотреть?

Можно было ответить по правилам: правила исключений не знают, на то они и правила, и надёжнее всего было бы так. Но за столом сидели мы одни, занавеска была задёрнута, и я ответил, как счёл нужным:

— В доме можно. Когда мы одни и никого нет — на меня смотри. Это я тебе разрешаю.

Сказал — и сам остался доволен тем, как сказал: и порядок цел, и ей послабление, и видно, что хозяин у неё добрый. Она сказала «спасибо» ещё раз, тихо. Глаз она при этом не подняла. Устала,

решил я, немудрено: столько нового в один вечер и на чужом языке — тут и грамотный человек устанет.

Дальше пошло по заведённому. Чай мы допили холодным, она собрала чашки, вымыла, вытерла насухо и поставила донцем вверх, как ставила всю неделю. Я погасил в кухне свет, пропустил её вперёд по лестнице, она поднялась ровно, не держась за перила. У двери спальни она обернулась вполоборота — глядя мне в подбородок, не выше, — пожелала доброй ночи, чисто выговорив оба слова, и вошла. Я закрыл дверь, повернул ключ, ключ положил в карман. За дверью было тихо, как было тихо все эти ночи.

Внизу я придвинул лампу, положил перед собой стопку тетрадей и красный карандаш. И вместо того чтобы открыть верхнюю, стал считать — не собирался, само посчиталось. Неделя; восьмой день, если считать с вечера у леса. Дом мой стоит крайним к лесу, но улица — вот она, сразу за забором, и по улице ходят: соседи мимо окон, старикова дочь к колодцу, днём патруль. Лавочница отвешивает мне хлеб на двоих и молчит, но отвешивает-то на двоих. Дом на два этажа, окна на четыре стороны, двор просматривается от калитки насквозь. А она не записана нигде, и записать её неоткуда: бумаги на неё нет и взяться бумаге неоткуда. Неделю всё это простояло тихо. Про вторую неделю я ничего сказать не мог, и про месяц не мог, и чем дольше я считал, тем яснее выходило, что счёт этот кончается вопросом, на который у меня нет ответа — теперь уже и для себя самого.

Досчитав досюда, я дальше не пошёл. Я подвинул стопку, открыл верхнюю тетрадь и взял красный карандаш. Ошибок в тот вечер я находил меньше обычного.

*Сцена четвёртая*

## Разрешение отца



Отпросился я запиской ещё накануне: написал, что у меня дело в городских учреждениях, и это была чистая правда. Завуч подписала, не дочитав, и сказала, что подменит меня сама, — за все годы я не взял ни одного свободного дня, так что мне, выходит, даже полагалось. А дело сложилось у меня за ночь само, из вчерашнего счёта: неделя простояла тихо, за вторую я поручиться не мог, бумаги на неё нет, и взяться бумаге неоткуда — кроме одного места и одного человека. Человек этот двадцать лет звал меня служить, а я двадцать лет ходил мимо. Теперь выходило идти к нему.

С утра я сделал всё, что делаю теперь по утрам, проверил занавески на кухонном окне, вышел и запер входную на оба оборота. Ключи легли в карман, к третьему, маленькому. С ними я и поехал в центр.

До центра от нашей окраины идёт автобус. Я сел, как садятся все, на переднюю площадку, а на повороте, держась за поручень, посмотрел зачем-то назад, в хвост. Там, за деревянной загородкой по грудь, устроен загончик для айсов — тесный, стоячий, на четверых. Ехала в нём одна старуха с узлом; она стояла, опустив голову, и качалась вместе с автобусом, как качается кладь. Я видел этот загончик тысячу раз и ни разу на нём не останавливался, а тут остановился и прикинул: вот выправлю всё — и можно будет ездить. Я впереди, она сзади, за загородкой, всё по правилам, и никто слова не скажет. Выходило удобно. Я отвернулся к окну и до самого центра считал остановки.

Управление я знал снаружи, как знает его весь город; внутри был второй раз в жизни. За стеклом у входа сидел дежурный. Я назвал фамилию — свою, она же и его, — и сказал, к кому иду. Дежурный снял трубку, произнёс в неё несколько слов, выслушал и стал выписывать пропуск, поглядывая на меня поверх бумаги, как сличают. Лестница за турникетом была широкая, дорожка на ней глушила шаг. Народу попадалось немного, все с погонами, все шли быстро и тихо, и тишина там стояла особая — как у нас в школе во время контрольной: все при деле, и дело у всех серьёзное. Пока я поднимался, я перебирал заготовленный с вечера довод, и с каждым этажом он делался короче. Внизу это была речь, с подходом и примерами. У высокой двери приёмной от неё осталась одна фраза: я никогда ничего не просил.

В приёмной молодой человек в форме велел ждать. Я сел на стул у стены и ждал, глядя на дверь, дольше, чем ждал чего-нибудь за последние годы. Потом меня пригласили.

Кабинет у отца большой, в два окна, и стол поставлен так, что входящий идёт к нему через всю комнату. Я шёл, а отец писал. Он дописал до точки, промокнул, отложил лист и тогда поднял голову.

— Живой, — сказал он. — Садись.

Я сел напротив — прямо, руки на коленях, как сидят у меня в классе вызванные к столу. Телефон стоял у его правой руки, чёрный, тяжёлый, со шнуром, уходящим за стол.

— В школе всё возишься, — сказал он, убирая исписанное в папку. Спрашивать он это давно перестал, говорил утверждением. — Тетради. Диктанты. Взрослый мужчина. Место, которое я тебе называл, пока стоит. Люди родине нужны сейчас, а тетради подождут ещё двадцать лет.

— Помню про место, — сказал я. — Я по другому делу.

— У тебя ко мне дело, — повторил он и в первый раз посмотрел на меня внимательно. — Ну.

Заготовленное растерялось ещё в приёмной, и я сказал коротко, как есть:

— У меня в доме живёт айса. Девятый день. Она нигде не записана. Мне нужно предписание инспектору, чтобы записать её на себя.

Отец сидел неподвижно. Потом сказал:

— Повтори.

Я повторил. Он выслушал до конца, глядя мне в лицо, и я увидел ту секунду, в которую он поверил. После неё голос у него сделался ровный и негромкий — таким при мне он ещё ни с кем не разговаривал.

— Откуда взялась?

— Нашёл у леса. Сидела у дороги с разбитой головой. Из-за леса вышла, я так думаю, и заблудилась.

— Кто видел?

— Никто. Было темно. Я вёл её задами.

— Соседи?

— Со двора она не выходит. Из дома тоже.

— Хлеб на неё берёшь?

Я ответил не сразу, и он кивнул так, будто я ответил.

— Лавка, — сказал он. — Значит, улица знает. Улица знает всегда, запомни это на будущее, учитель. Дальше. В глаза тебе она смотрит?

— Опускает.

— Опускает, — повторил он. — Выучилась. Они все выучились. Которые остались — те выученные, других ты уже не встретишь.

Он поднялся, обошёл стол и стал у окна, спиной к свету, и говорил оттуда — по-прежнему негромко, как диктуют по описи.

— Ты грамотный человек. По какой строке идёт держание неучтённой, знаешь?

— Знаю.

— По ней и идёт. По этой строке берут, слышишь меня? Берут. Девятый день у моего сына в доме сидит дрянь, а сын приходит в управление и рассказывает мне это вслух через стол. — Он помолчал. — Она дрянь. Она айс. Их положено уничтожать, для этого есть санитарная служба, и служба работает — уж я-то знаю, как она работает. Я после войны год стоял на сборных пунктах. Я их с разбитыми головами видел столько, сколько тебе учеников за всю жизнь не увидеть. Голодная была, когда подобрал? Ела хорошо?

Я молчал.

— Они выходят к жилью, когда в лесу есть становится нечего, — сказал он. — Всё, что ты нашёл у дороги, до тебя находили тысячу раз, и каждый потом рассказывал про разбитую голову. Сядь ровно и слушай меня. Ты называешь мне адрес. К вечеру у тебя в доме чисто. В бумагах она пойдёт подобранной у дороги, и тебя в этих бумагах нет — нигде, ни строчки. Это я могу сделать сегодня, пока это разговор в кабинете. Завтра это уже дело.

Сказал он это тоном человека, который предлагает подвезти. Он помогал мне — так же просто, как я неделю назад грел воду и разматывал бинт. Порядок, про который я рассказываю у доски, сидел теперь напротив и предлагал прибраться за мной. Телефон стоял у его правой руки; хватило бы одного движения. И я отчётливо понял ещё одно: всё, за что в этих стенах берут, я уже выложил здесь сам, своим голосом, и дверь за собой закрывал своей рукой.

— Ты прав, — сказал я. — Всё, что ты сказал, правда, и спорить мне не с чем. Она айс. Заботы ей никакой не положено, я и не забочусь. Мне нужны руки в доме. Я живу один, обед сварить некому, рубахи чинить некому, дом зарастает. Люди держат работников — те, кому положено. Вот и я хочу, как положено: бумага, номер, учёт. Тайком держать не стану, потому и пришёл сюда, а никуда больше.

Он смотрел на меня от окна и молчал. И тогда я выложил последнее — то, что нёс от самого низа лестницы:

— Я у тебя за всю жизнь ничего не попросил. Ты это знаешь лучше меня. Сегодня прошу первый раз. Одну подпись. Для моего спокойствия.

Он молчал долго. На шкафу у него стояли часы и шли громко; я успел наслушаться их досыта. Он вернулся за стол, сел, и один раз взгляд его сошёл с моего лица вниз, на мою левую руку, повыше запястья, где рукав, — постоял там и вернулся. Часы шли. Где-то за стеной звякнул телефон, чужой, и стих.

— Учитель, — сказал он наконец. — Сын приходит ко мне раз в десять лет. За этим.

Он выдвинул ящик и достал бланк — рука нашла его не глядя. Заполнял он быстро, перо шло со служебной лёгкостью, видно было, что таких листов через эти руки идёт много. Внизу он расписался, придвинул печать, пристукнул, просушил лист, пома-

хав им в воздухе, — буднично, как остужают ложку, — и положил на край стола с моей стороны. Сам при этом уже глядел в окно.

— Возьми. Предписание инспектору по учёту. Сделаешь всё по правилам, до последней запятой; инспектору лишнего не рассказывай, что положено — он спросит сам. Моё имя в этом деле прозвучало один раз, сейчас, и больше не прозвучит — ни у инспектора, ни где ещё. И запомни, к кому ты сегодня приходил и о чём просил. Я — запомню.

Я взял лист, сложил вчетверо и убрал в нагрудный карман.

— Спасибо, — сказал я.

Он не ответил. Потом сказал, всё так же в окно:

— Такие бумаги легче подписать, чем отменить. Иди.

Вниз дорожка глушила шаг так же, как вверх, но шёл я по ней вдвое легче. Пропуск я отдал дежурному за стеклом; тот наколол его на спицу, где таких пропусков сидела уже целая стопка, серых, одинаковых, отгулявших своё. На крыльце меня встретил день — высокий, солнечный, с ветром по площади. У остановки скучал патрульный, через мостовую несли корзины из рядов, у фонтана кричали дети, и всё это было дневное, обыкновенное, моё. У лотка на углу я купил печёного, горячего, с чем-то кислым внутри, и съел на ходу — только тут и понял, что с утра во рту у меня ничего не было, кроме чая.

Шёл я и прикидывал, как складно теперь всё выстраивается. Вчера ещё счёт мой обрывался в пустоту, а сегодня в нагрудном кармане лежал лист с подписью и печатью, и от этого листа шла прямая дорога: инспектор, запись, номер — и всё, и конец страху, и пусть себе лавочница отвешивает хлеб хоть на троих. Сделал это я сам, своей головой: выслушал, согласился, где надо было согласиться, попросил один раз — и вышел с бумагой. Отец, конечно, наговорил лишнего, на то он и отец, и служба у него такая, что мягких слов в ней не держат. А подписал. Кровь своё берёт, так я это себе объяснил, и объяснение легло гладко.

Лист в кармане согрелся от меня. Весил он меньше тетрадного, а я проверял его пальцами на каждом углу, и всякий раз он отзывался под тканью коротким сухим шорохом — тут, мол, тут. Дом мой стоял отсюда далеко, у самого леса, запертый на два оборота, и я нёс ему в кармане законную жизнь.

Контора инспектора по учёту сидит за парком, через улицу от жилого дома; принимают там до четырёх, и времени у меня оставалось с запасом. Я вошёл в парк и пошёл главной дорожкой, не срезая. В листве над головой возились птицы, на скамейках сидели старики с газетами, песок был свежепрометён. День стоял из тех, когда город мне нравится весь, от площади до окраины, и я шёл через него шагом человека, у которого всё улажено.

## Сцена пятая

# Регистрация у инспектора



**Н**акануне я до конторы так и не дошёл. От парка оставалась одна улица, когда я догадался посчитать часы: принимают до четырёх, а её ещё надо было привести с окраины — туда дорога и обратно дорога, вдвоём никак не успеть. Я постоял у выхода из парка, поглядел через улицу на крыльцо в три ступени и на жилой дом напротив, где между окнами сохло на верёвке бельё, и поехал домой. Бумаге в кармане от переноса ничего не делалось: подписана — значит подписана, день полежит.

За ужином я сказал ей: завтра пойдём в город, тебя запишут. Будет запись, будет бумага, и санитарной службы можно больше

не бояться. Она дослушала, глядя в стол, помолчала и спросила, что ей надеть. Вопрос был дельный, хозяйственный, и он мне понравился: понимает, куда идёт и как себя там держать. Про остальное я рассказывать не стал. Порядок она увидит на месте, а пугать заранее — пустое дело: кто напуган, тот дёргается, а дёргаться ей там будет нельзя.

Назавтра я отвёл свои четыре урока, никого не задержал после звонка и успел на ранний автобус. Дома ждал разогретый обед; поели мы быстро, она вымыла посуду, а я собрался: бумага, ключи, и в тот же карман легла банка с мазью — той самой, которой я мазал ей висок. Одета она была в моё старое, рубашка да штаны, подвёрнутые и подвязанные, и в этом старом она глядела ровно так, как им положено глядеть на улице: с чужого плеча. У двери я повторил ей правила, все пять, по пальцам. Она кивала на каждое, глядя мне в подбородок.

Калитку я запер за нами, и мы пошли к перекрёстку. Шёл я впереди; она взяла полшага сзади и чуть сбоку — сама, я ей этих полшага не называл. У лавки перед остановкой стояли двое незнакомых, поглядели на нас и договорили своё. Смотреть тут было не на что: человек ведёт айсу средь бела дня, ведёт по делу — стало быть, так положено.

Автобус подошёл полупустой. Я поднялся на переднюю площадку, а она прошла к задней двери и встала в загончик, в самый дальний угол, лицом к загородке. Слова на этот случай я приготавлил ещё дома, полголосом, чтобы подсказать, если растеряется, — и ни одно не понадобилось. Ехали долго. Я стоял, держась за поручень, смотрел на дорогу и прикидывал, как заживём с бумагой: можно будет посылать её в лавку, можно будет вот так ездить, когда понадобится, — я впереди, она сзади, всё по закону, — а спросит кто из соседей, ответ короткий: записана, и весь разговор. Один раз, на повороте, я увидел в стекле угол загородки и её плечо в моей рубашке. В загончике она ехала одна.

От остановки мы прошли парком, боковой дорожкой — она короче главной. Под вечер народу там было немного: служитель собирал граблями листья у скамеек, двое прошли навстречу и не поглядели. Полшага держались за мной как привязанные, и глаза она не поднимала даже на птиц, которые возились в листве у самой дорожки.

Контора стоит сразу за парком, через улицу от жилого дома. Внутри было тесно: шкафы с папками до потолка, стол, табурет у стены, окно, в котором висела пыль в последнем солнце. Пахло бумагой и нагретым металлом, а за стеной сдвигали стулья — там кончали день.

За столом сидел инспектор и дописывал своё.

— До четырёх, — сказал он, не поднимая головы. — Успели.

Я положил перед ним предписание. Он развернул, прочитал сверху вниз, дошёл до подписи — и на подписи взгляд его остановился и постоял. Он посмотрел на меня поверх листа, коротко, по-новому, и про бумагу не спросил ничего.

— Где взяли?

— Подобрал у дороги, у леса. Сидела с разбитой головой.

Он кивнул и записал. Спросил ещё: сколько дней при мне, чем занята, понимает ли по-нашему. Я отвечал коротко: десятый день; обед, стирка, дом; понимает и говорит. Больше он знать ничего не хотел. На неё он за всё это время поглядел столько же, сколько на табурет у стены.

— Раздевайте, — сказал он мне и снял с полки толстую книгу.

Сказал он это так, как говорят «разверните», когда приносят свёрток. Я растегнул на ней пуговицы сверху вниз и снял рубашку; она переступила через штаны и выпрямилась. Вещи я сложил на табурет ровной стопкой — так она складывает мои. Она стояла посреди кабинета, там, куда её поставили, руки вдоль тела, глаза в пол. Свет из окна лежал на ней сбоку.

Инспектор обошёл её с карандашом в руке. Говорил он вслух, себе, для граф: женская; возраст на глаз двадцать, двадцать с небольшим; рост средний; сложение худое. Волосы у виска он приподнял карандашом: рубец, заживший. Отметины на левом боку, сходящие. Всё это ложилось в книгу ровным канцелярским почерком, графа за графой. Она стояла смирно, и глаза её были опущены так, как я учил, — ниже, чем я учил.

Потом он снял со шкафа аппарат — ящик с ручкой, тяжёлый, судя по тому, как он его нёс, — поставил на стол и размотал шнур. Из плоской коробки, где каждый знак сидел в своём гнезде, он набрал номер: сверялся с книгой и вставлял знаки в обойму по одному, как набирают штемпель. Потом воткнул шнур и включил. Аппарат загудел — сперва низко, потом всё выше, и от него потянуло тёплым, палёной пылью. Под левым рукавом у меня зачесалось; я потёр предплечье большим пальцем сквозь ткань и перестал.

— По инструкции — на лоб, — сказал инспектор, глядя на гудящий ящик. — Держать надо крепко: дёрнется — смажется, ставь второй раз. Держат вдвоём, у меня руки заняты. Дежурных с улицы звать не будем, конец дня, лишние люди. Держите вы.

— На лоб не надо, — сказал я. — Ставьте на предплечье.

Он поднял на меня глаза. Довод у меня был приготовлен ещё с вечера, и я выложил его казённо, как читают накладную: ей в доме работать и со временем в лавку ходить; метка во весь лоб — вывеска для всякого встречного и разговоры по всей улице; под рукавом номер целее. И лицо жечь незачем: порченный товар хозяину ни к чему.

Я ждал, что он поднимет меня на смех. Смеха я не дождался. Он посмотрел на неё — в первый раз за весь приём по-настоящему, с головы до ног и обратно, неторопливо, — потом на меня, и понял меня по-своему, и показал, что понял: усмехнулся половиной рта и наклонил голову, как своему. Лучше бы он засмеялся.

— Дело хозяйское, — сказал он. — В графе место одно, а откуда номер списан, никто не спросит. Левую давайте: правой ей работать.

Я подвёл её к столу. Встал сзади и взял за плечи. Плечи были тёплые и стояли ровно; она глядела перед собой, вниз, на край стола, и я поверх её головы глядел туда же. Инспектор взял её левую руку повыше кисти, повернул исподом кверху и примерился.

— Держите, — сказал он.

И прижал.

Зашипело. Запахло палёным мясом. Плечи под моими ладонями сделались каменными — один раз, коротко — и отпустили, и дальше она стояла всё так же ровно. Инспектор считал вслух, до трёх. Я слышал каждое из этих слов отдельно.

Он снял аппарат и выдернул шнур. Гул пошёл вниз и стих. На предплечье, исподом, стояли цифры — белые, вспухшие по краям, и кожа вокруг них наливалась красным.

— Хорошая девочка, — сказал инспектор, укладывая знаки обратно по гнёздам. — Умеют же стоять смирно, когда хотят.

Я достал из кармана мазь, снял крышку и стал мазать ожог — так, как мазал ей висок в первый вечер: по краям, потом середине, тонко, не нажимая. Рука её лежала в моей ладонью кверху и не дрожала. Она смотрела вниз, на мои пальцы. Инспектор в это время писал; перо у него скрипело, и головы он не поднял ни разу, пока я не кончил, — так пережидают чужую блажь, когда день отработан и спорить лень. Потом я одел её: подал штаны, надел рубашку, застегнул пуговицы сверху вниз, а рукав на ожог опустил осторожно, чтобы ткань легла и не тёрла.

Номер лёг в свои графы. Инспектор промокнул лист, оттиснул печать, расписался и подал мне через стол.

— Бумага на неё, — сказал он. — Держать при себе или при ней — это уж как заведёте. Предписание остаётся в деле.

Лист был ещё сыроват от печати. Я сложил его вчетверо и убрал в нагрудный карман, на то самое место, которое два дня грела другая бумага. Выходило — всё: записана, учтена, состоит при мне. Незаписанных в моём доме больше нет, и приезжать к нам теперь не за кем.

На улицу мы вышли под вечер. Солнце ушло за крыши, мостовая лежала в тени, от парка тянуло холодком и листом. За спиной щёлкнул замок — контору закрывали следом за нами, день у них тоже кончился. Мы пошли по мостовой.

Я шёл и ждал. Складно говорить она пока слаба, да слов я и не просил — я бы и кивку был рад, и тому медленному опусканию век, которым она умеет благодарить с самого первого вечера. Было за что: страх, простоявший в моём доме десять дней, кончился нынче совсем, и кончил его я — своим днём, своей дорогой, своей бумагой. И то, что номер у неё под рукавом, а лицо цело, — тоже моя работа, хотя спасибо за такое говорить не учат нигде.

Она молчала. Шла на своих полшага сзади, глаз не поднимала, рукав был опущен, и левую руку она несла чуть на весу, на отлёте, как несут то, что боятся задеть. Молчала она всю мостовую, от самого крыльца.

Ну и ладно, решил я. Устал. С утра уроки, потом автобус, потом кабинет, теперь вся дорога обратно, а дома ещё тетради лежат с той недели. Я всё сделал как надо, до последней запятой, и сделал один. А ждать от них благодарности — последнее дело, это и в школе так: тянешь весь год, а спасибо если и скажут, то лет через двадцать, и не тебе.

Я прибавил шагу. Полшага сзади не отстали.

## Сцена шестая

# Стычка на мостовой



**Д**о угла нам оставалось шагов сорок, когда в доме напротив хлопнула дверь.

Я обернулся просто на стук, как оборачиваются в пустеющем квартале на всякий звук. Дверь была того самого дома, где между окнами сохло на верёвке бельё; из неё задом вылетел мальчишка — его тащили за ворот. Тащил хозяин, мужчина в годах, плотный, распояской; в свободной руке у него был пучок розог. Мальчишке было лет тринадцать, и во весь лоб у него стоял номер. Хозяин выволок его на середину мостовой, нагнул за шею и с первого же маха ожёг поперёк лопаток.

— Я тебя учил, куда ставят? — говорил он в голос, на всю улицу, не сбиваясь с ударов. — Учил или нет? Третья миска за месяц! Руки у вас не оттуда растут, так я тебе их выправлю. У меня выправятся!

Розги свистели с оттяжкой, ровно, привычно. Мальчишка вякнул на первом ударе и замолк, только вздрагивал всей спиной и втягивал голову в плечи. Двое прохожих на той стороне сбавили шаг, поглядели и пошли себе дальше: айс разбил — айса учат, дело хозяйское, так везде. Я и сам поглядел ровно столько же, сколько они. Картина была обыкновенная, я таких перевидал с детства; неладно было только то, что вечер, что мы устали и что нам как раз мимо. Я нашёл руку Леи — правую, целую, — сжал powyше кисти и повёл её наискосок, на ту сторону, подальше.

Рука вышла из моей ладони.

Рывка я не почувствовал. Только что я держал её — и уже держал воздух, а Лея шла через мостовую. Шла она незнакомо: быстро, очень ровно, подняв голову, — при мне она так не ходила ни разу. Она остановилась в двух шагах от хозяина и сказала вслух, на всю улицу, своим низким голосом, выговаривая чище, чем со мной за столом:

— Перестань. Он маленький. Перестань сейчас.

Все правила, которые я утром считал ей по пальцам у двери, кончились в одну эту фразу.

Хозяин довёл замах до конца, уже не глядя куда, и обернулся. Сперва он искал глазами человека: посмотрел поверх её головы, на меня через улицу, вдоль мостовой. Потом понял, откуда шёл голос, и посмотрел на неё. Она стояла перед ним в моём старом, с чужого плеча, и смотрела ему в лицо. Двое на той стороне встали как вкопанные.

— Это что же, — сказал хозяин негромко и облизнул губы. — Это чьё у нас тут заговорило?

С угла свистнуло. Коротко, вопросом. От парка отозвался второй свисток, длинный, и оба покатались сюда. Счёт этот знает каждый в городе: свисток, второй, топот. Айс, поднявший голос на улице, кончается на месте, при всех, и заодно спрашивают с того, при ком он состоит. Лист в моём нагрудном кармане был подписан три четверти часа назад, и я успел подумать глупое, домашнее: бумага, у меня же бумага, сейчас всё покажу и объясню.

Я побежал к ним. На бегу я уже говорил — «она не в себе, она записанная, вот...» — и лез двумя пальцами в карман за листом. Хозяин меня не слушал. Он перехватил розги толстым концом к ней и махнул наотмашь, поперёк лица.

Дальше расскажу, как видел, а видел я плохо: глаза за этим не попевали.

Она шагнула ему под руку. Взялась за его запястье — обеими, левой тоже. Повернулась. Хозяин перелетел через её бедро и лёг на камни всем весом сразу, как мешок с плеча; он уже лежал, а розги ещё стучали где-то, катясь. Он завозился, ловя воздух ртом. Она на него больше не смотрела.

Потому что топот добежал. С угла — четверо, от парка — трое, семеро, дубинки наголо, и свистки шли уже без передышки, взахлёб, с обеих сторон. Первый добежал раньше прочих и рубанул сверху. Дубинка прошла по пустому месту; Лея была сбоку. Короткий тычок под рёбра — и он сел на мостовую, забыв про дубинку, и стал дышать по глотку. Второго и третьего она встретила разом: присела под замах, крутнулась низом, и обоих снесло, как срезало под колено. Четвёртый успел схватить её за левый рукав; я услышал собственный крик со стороны, слов в нём не было; она провернулась в его руке, и он ударился спиной о камни так, что охнула вся улица. Пятый лёг поперёк четвёртого. Шестой отскочил, взял дубинку двумя руками, пошёл грамотно, вполоборота — и лёг тоже, я даже не разобрал от чего. Седьмой уже пятился и свистел, свистел не вынимая свистка изо рта; она

догнала его в два шага, вынула дубинку из его пальцев, как вынимают ложку у ребёнка, и уложила коротким движением куда-то под ухо.

Стало тихо. Свисток укатился в канаву и досвистел там сам. Семеро лежали и сидели по мостовой, возились, стонали; один полз к стене, перебирая руками, другой шарил вокруг себя, ища то ли дубинку, то ли землю. Живы были все: она никого не тронула дважды и ни на одного не потратила лишнего движения — работала коротко и скупно, как считают вслух. Левой рукой брала так же, как правой. Под левым рукавом у неё сидел свежий выжженный номер, я сам его нынче мазал, — по ней этого было не видеть вовсе.

Я стоял у кромки мостовой, где меня оставили, с двумя пальцами в нагрудном кармане, и не двигался. В доме у меня десятый день жил тихий человек, который разогревает похлёбку, складывает мои рубашки стопкой и учит по детской книжке слова «дом», «ведро», «птица». Этого человека я мыл, лечил, вёл сегодня через город по всем правилам. Посреди мостовой, над семерыми, стоял сейчас кто-то, кого я видел первый раз в жизни, и как его звать, я не знал.

Разбудил меня новый свисток — дальний, с третьей стороны, от рядов. Ему ответил четвёртый, ещё дальше. Город расходился вокруг нас кругами, как вода от камня. Я добежал до неё, схватил за руку — за левую, какая ближе, про ожог вспомнил уже пальцами — и закричал в лицо:

— Бежим! Слышишь меня? Бежим!

Она мягко вынула руку из моей — второй раз за вечер — и подошла к мальчишке. Тот лежал у стены, куда отполз, рубашка висела на нём мокрыми тёмными лентами. Она подняла его с камней одним движением, поставила на ноги, придержала. Он качнулся и устоял.

Тут решал уже я, и решать было нечего. Я подхватил его под руку с одной стороны, она с другой, и мы побежали в первый проулок, какой открылся, — щель между жилым домом и глухой стеной.



Город я знаю с детства, и это нас вывезло: знал его тут я, а гнали их. Я вёл петлями, куда сам сроду не совался в такой час: задворками лавок, где пахнет рассолом и мокрым деревом, проходной аркой на двор с поленницами, ещё двором, через низкий забор — мальчишку мы просто перенесли через доски, как переносят кладь. Свистки позади не смолкали и не отставали; хуже — их прибывало. Они перекликались уже с четырёх сторон, и по перекличке было слышно, как улицы берут в клетку: свисток встаёт на своём углу и стоит, и всё, этот угол не наш. К площади было не сунуться — наш автобус уходил оттуда, но площадь для нас теперь была всё равно что чужая страна. И домой хода не было: адрес мой с сегодняшнего дня стоял в книге у инспектора, в своей

графе, моим же голосом продиктованный. Дом у леса, запертый на два оборота, будет ждать гостей раньше, чем хозяина.

Мальчишка кончился на третьем дворе: ноги под ним стали подламываться, он висел у нас на руках и скрёб башмаками по земле. Мы завели его за поленницу, посадили лицом к дровам. Я стянул с себя рубашку, остался в нижней, порвал её на полосы — руками, она рвалась плохо, я помогал зубами. Банка с мазью нашлась в кармане, где лежала с самого обеда. Спину его я мазал почти не глядя, на ощупь: полосы были частые, крест-накрест, где вспухшие, где мокрые. Он дёргался под пальцами и молчал — так же, как молчал под розгами. Я обвязал его поперёк, как вяжут наспех тюк, концы заправил, натянул сверху то, что осталось от его рубахи. На всё ушло меньше времени, чем я рассказываю. Лея сидела рядом на корточках, смотрела, как я вяжу, и один раз поправила узел — тронула и сдвинула на палец в сторону, чтобы не лёг на рубец.

Дальше его несла она. Присела, завела его руки себе через плечи, взяла под колени и поднялась, как поднимаются с ведром, — ровно, без натуги. Я пошёл вперёд, показывая дорогу, и старался не смотреть, как она идёт: шла она с ним легче, чем я шёл пустой.

Тревогу подняли, когда совсем стемнело. Сначала завыло от центра — низко, с завода на подъём, — потом отозвалось правее, потом за спиной. Сирены я слышал за жизнь раза три, издалека, и всякий раз это было чужое происшествие в чужом квартале: где-то стряслось, где-то возьмут кого положено, а мой дом стоит, и порядок стоит, и стоят они ради меня. Теперь весь этот вой шёл по нам. Я вёл и слушал его, как слушают дождь, под который уже попал.

В тупике за какими-то сараями мы встали отдышаться. Темень там была полная, только над крышами стояло дрожащее зарево от фонарей соседней улицы. Мальчишку она опустила на землю,

он привалился к доскам и задышал мелко, со свистом на выдохе. И тут меня догнал счёт — сам, я его не звал.

Лист у меня в нагрудном кармане, тёплый от меня, с печатью и с номером: в нём моё имя, и с этого вечера бумага эта показывает на меня вернее всякого доноса. Фамилия в ней — отцовская, другой у меня нет; инспектор эту подпись сегодня узнал, я видел, как узнал. Завтра в школе первый урок у шестого, и завуч посмотрит в журнал, где я не расписался. Тетради лежат на столе под лампой, стопкой, с красным карандашом поверх. Всему этому — школе, дому, улице с лавкой, всей моей выстроенной жизни — вышел конец за один вечер, и занял этот конец меньше времени, чем идёт автобус от нашей окраины до центра. Утром я вёз её записывать. Сейчас я стоял в чужом тупике, полуодетый, с чужим избитым мальчишкой у ног, и считал по свисткам, какие улицы ещё не заперты.

Она стояла в шаге от меня. Дышала ровно — я и дыхания-то её не слышал, догадывался по плечам. Спросить было о чём; вопрос стоял у меня во рту весь вечер, с той секунды, как хозяин лёг на камни. Я его не задал. Я наперёд знал, каким голосом она ответит — тем самым, ровным, каким отвечала по книжке про ведро и птицу, — и с этим голосом вопрос у меня не выговаривался.

— Посидим тут, — сказал я вместо всего. — Пока переключка не отойдёт. Потом дальше, дворами.

— Да, — сказала она. — Дворами.

Мы сели на землю по обе стороны от мальчишки, спинами к доскам. Доски держали дневное тепло, от земли тянуло холодом. Свистки понемногу отходили — не смолкали, а именно отходили, вставая по дальним углам; сирены были уже по всему городу, перекатываясь с края на край. От нас пахло мазью и палёным. Мальчишка уснул, привалившись к её плечу, и вздрагивал во сне на каждом свистке. Нас пока не поймали; это было всё, что я мог ска-

зять про нас к этому часу, и больше я не знал про свою жизнь ничего.

Рядом в темноте не спали. Я слышал это по дыханию: мальчишка дышал часто и мелко, а её дыхания слышно не было совсем.

*Сцена седьмая*

## Рука у трапа



**В**низу гас город.

Сверху он лежал весь разом: серые прямоугольники кварталов, нитки улиц с бусинами фонарей, тёмный лоскут парка. К краю, за последними крышами, начиналась ровная чернота — без единого огня, до самого горизонта. Окна зажигались, окна гасли. Так было вчера. Так было и позавчера.

— Сорок первый круг, — сказал Сэм. — Это я сегодняшние считаю. Вчерашние бросил после полуночи.

Дэвид держал дугу и молчал.

— Утром он проступил три раза, — сказал Сэм. — Днём два. Теперь молчит пятый час. Я вот к чему, Дэвид: двое суток. Столько не тянут. Может, с ней что-то случилось. Так бывает, и ты это знаешь не хуже меня.

— Сигнал слабый, — сказал Дэвид. — Слабый — значит, есть. Надо ниже.

— Ниже нам нельзя. Про это тоже есть слова, и ты их помнишь наизусть.

— Помню.

Круг они прошли молча. Сэм потёр глаза ладонью, посмотрел на свою руку, будто спрашивал с неё что-то, и сказал уже мягче:

— Поднимемся, доложим, вернёмся к утру. По уму — так.

— К утру её здесь не будет.

— Этого ты не знаешь.

— Этого я не знаю, — согласился Дэвид и заложил новый круг.

Первым увидел Сэм — он смотрел вниз, когда Дэвид смотрел перед собой.

— Глянь-ка.

По городу шли огни. От центра, парами и тройками, они ползли по ниткам улиц, сворачивали на перекрёстках и сходились в одну сторону. Там, куда они сходились, огни вставали и оставались стоять: пара за парой, угол за углом, пока из них не начало складываться кольцо. Сквозь обшивку, тонко, на одной ноте, доставал снизу вой.

Дэвид опустил машину, и сигнал проступил — рваный, еле живой, но с места он теперь держался твёрдо.

— Вот она, — сказал Дэвид. — Смотри, куда садится точка.

Точка садилась внутрь кольца.

— Нет, — сказал Сэм. — Даже не начинай. Нам нельзя показываться. Ни при каких — формулировку ты знаешь.

— Знаю. Теперь посчитай со мной минуту. Кольцо сомкнётся — и точки не будет, а второй мы не дождёмся. Двое суток мы бе-

регли тишину. Кому она будет нужна через минуту?

Сэм смотрел вниз, на огни. Потом откинулся в кресле и взялся за скобу над головой.

— Давай, — сказал он.

Дэвид отдал ручку от себя, и крыши пошли навстречу.

Свистки отходили весь тот час — вставали по дальним углам и стояли. Я успел досчитать их до восьми и сбился, потому что девятый ударил рядом: короткий, вопросом, сразу за сараями. Ему ответили от входа в тупик — длинно. И по доскам над нашими головами поплыли жёлтые пятна ручных фонарей.

Мальчишка вздрогнул и проснулся молча — так он, видно, приучен был просыпаться. Лея накрыла ладонью его затылок и придержала. Я поднялся; колени затекли, и вставал я по-стариковски, цепляясь за доски.

— Кто в тупике! — крикнули от входа. — Выходить по одному! Руки на виду!

Голос был ровный, служебный, без злобы — голос человека, который знает, что из тупика ходу нет. Я и сам это знал.

Лист я вынул раньше, чем что-нибудь решил: пальцы сами нашли карман, сами развернули по сгибам. Другого у меня ничего не было — ни слова годного, ни второй бумаги, а про мальчишку и подавно, — и я пошёл на фонари, держа лист перед собой обеими руками, как несут блюдце с полной чашкой.

— Тут всё по правилам! — сказал я в свет. — Она записанная, при мне состоит, вот бумага, печать, подпись...

Договорить не пришлось.

Свет упал сверху.

Белый, сплошной, без дрожи. Тупик стал виден весь, до последней щепки, до шляпок гвоздей в досках. Тени встали столбами. Ручные фонари в этом свету пропали, как пропадает свечка, вынесенная на полдень. От входа закричали — коротко, вразно-

бой, уже без служебной ровности, — и я задрал голову, и они, слышно было, задирали тоже.

Небо стояло ниже, чем ему положено. Над самыми крышами, закрыв собой зарево соседней улицы, висело гладкое и тёмное, величиной с добрый дом; воздух под ним дрожал, как дрожит он летом над нагретой мостовой. Сверху надавило тёплым, тугим; захлопало по крышам, с поленницы за забором посыпались дрова, пыль пошла по земле кругами, и лист забился у меня в руках, как пойманный.

Потом оцепление легло.

Передний — он уже шагнул в тупик, я видел под светом его сапоги — сел там, где шагал: колени подломились, он завалился набок, и фонарь его покатился, чертя по земле жёлтым. За ним осели остальные, все разом, вдоль входа и за сараями тоже — там мягко попадало. Дубинки простучали по камню вразнобой, дробью. Чей-то свисток оборвался на середине звука.

И сделалось тихо. Сирены шли по городу как шли — далеко, за десять улиц; здесь их будто отрезало вместе со всем остальным. Тишина стояла плотная и давила на уши крепче любого воя.

Я стоял. Из всех, кто минуту назад был на ногах, стоял один я — посреди тупика, в нижней рубахе, с развёрнутым листом. Лежавшие дышали: ближний ко мне лежал лицом вверх, и грудь его ходила ровно и глубоко, как у спящего после смены. Отчего их положило и отчего меня обошло — я не знал. Спросить было не у кого, а бумага моя на этот случай молчала.

Лея стояла посреди света во весь рост, подняв лицо кверху. Когда она успела подняться, я не углядел. Глядела она вверх открыто и спокойно — так, как ей разрешалось глядеть только на меня, и только в доме, при закрытых дверях.

Оно сошло ниже и встало над мостовой перед тупиком, ничего не касаясь; до тёмного его брюха я достал бы, пожалуй, жердью. Гудело оно низко и ровно, всем телом, от гула дрожали доски за

моей спиной и позвякивало на сараях какое-то железо. Как это называется, я не знал; слов у меня для такого не водилось, и взять их было негде. Сбоку в нём откинулась плита — наружу и вниз, как открывают погреб, только погреб этот висел в воздухе, — изнутри лёг свет, жёлтый, комнатный, каким светит лампа над столом, и вниз выпали короткие сходни. Они повисли, не достав до камней.

— Ким! — позвали изнутри.

Голос был мужской, молодой, обыкновенный; следом пошли ещё слова, быстрые и гладкие, ни одного знакомого. Я и без знакомых понял: зовут. Так через двор окликают своего — одним коротким словом, без фамилии.

Лея отозвалась.

Голос был её — низкий, ровный, тот самый, каким она повторяла за мной «дом», «ведро», «птица». Слова были чужие. Шли они быстро, легко, длинной связной речью, с подъёмом и спадом, — за десять дней в моём доме она не наговорила мне и десятой доли того, что сейчас, одним духом, отдала вверх, в жёлтый проём. Ей ответили сверху — коротко, в два слова, и в этих двух словах, хоть я их и не знал, послышалась мне радость, какой не прячут.

Мальчишка сидел у досок, смаргивая на свет. Она присела перед ним, сказала по-нашему, тихо — я расслышал «держись за шею», — и он взялся, и она поднялась вместе с ним, ровно, как поднимаются налегке. У сходней из проёма свесился человек — в сером, цельном, с молнией от горла до пояса, — принял мальчишку под мышки и внёс. Недолго и наискось мне было видно внутрь: мальчишку уложили животом вниз на что-то плоское, и второй — их там оказалось двое — сразу склонился над его спиной. Руки его пошли по перевязке, по узлам из моей рубашки, быстро и умело, а голос при этом говорил — одно короткое слово, дважды. Что оно значит, я не знал. Как оно сказано, было понятно и так: скорей.

У входа кто-то из лежавших повёл рукой по камню, нашаривая опору, и застонал. Стон вышел живой, крепкий; за ним завозился второй.

Лея ступила на сходни. Сходни качнулись и приняли её. Она поднялась на ступень, взялась рукой за край проёма — жёлтый свет обвёл её сбоку: моё старое на ней, подвёрнутые штаны, рукав до самого запястья, — и остановилась. И обернулась ко мне.

— Рэй, — сказала она.

И протянула мне руку — ладонью кверху, через весь этот свет.

Сверху поторопили ещё раз, тем же коротким словом. Она не оглянулась. Сходни мелко дрожали под ней от гула; жёлтое стояло у неё за спиной, белое лежало на всём остальном — на мостовой, на лежавших, на мне. Лист был у меня в обеих руках, обмякший, тёплый от пальцев, с печатью и с её номером. Я стоял среди лежавших, в нижней рубаше, и не двигался. Рука ждала — раскрытая, пустая, протянутая мне ладонью кверху.

## Исходная надиктовка



Это всё, что автор дал PromptyFlow на входе, — сырая расшифровка голосовой надиктовки замысла. Напечатана как есть, без чистки и правок: запинки, повторы, «э-э», ошибки распознавания речи, отсутствие абзацев. Две записи — диктофон прервался и автор продолжил.

Из этого текста PromptyFlow собрал канон, сюжет и рассказ, который вы только что прочитали.

### ЗАПИСЬ 1

так наша задача написать роман из шести сцен примерно из шести сцен чуть больше подождем пока его назовем милосердие Значит, это роман в стиле социальной научной фантастики на русском языке, написанный в стиле Стругацких, Станислава Лема. Вот. То есть, э, Бредбери, может быть. То есть, это такой, э, рассказ, э, язык должен быть такой, э, с одной стороны, вроде обыденный, да? У нас, э, э- То есть язык такой рефлексивный язык человека, который живёт в тоталитарном государстве, но этого сам не осознаёт. Вот. То есть, ну, в таком духе реализма он пытается комментировать внутренним голосом. происходит в принципе он человек неплохой да и ну то есть но в целом это такая обыденность да то есть язык должен описывать обыденную в целом понятную ему простую жизнь по простой схеме и в этой схеме он себе вот таким простым спокойным языком объясняет да ну в духе реализма такого фантастического но при этом должно постепенно нарастать такое напряжение, да, должно сквозить какая-то недосказанность, а и периодически в языке, в тексте должны возникать такие уколы, пронзительные, раздражающие, от, от- может быть от осозна-от узнавания жутковатого, может и еще как-то. В общем, но в целом такой простой, красивый язык, да. Сюжет должен разворачиваться постепенно, не совсем понятно для читателя, да. Самое главное, что почти вся, почти весь рассказ, да? будет идти от лица главного героя, ненадёжного рассказчика. Назовём его Рэй. Рэй обречен на планете, на некой тоталитарной, где несколько, ну, ему, я думаю, 25-27, вот такой возраст примерно у него, и на этой планете лет пятнадцать назад закончилась страшная война, да, и с и с края или планета, в общем, тот регион, где он живет, он постепенно, очень медленно

восстанавливается, по, как бы, атмосфере, по всей, да, это, ну, и исторически, хотя это непонятно его. Территория, да, поэтому тут нужно очень аккуратно, а, использовать все названия.

## ЗАПИСЬ 2

Продолжаю дальше записывать. Запись перервалась. Значит, да, про название, да, так как это и все-таки другая планета, хотя сразу должно быть понятно, то нужно стараться не использовать какие-то названия, ну, допустим, земных растений и животных, да, ну, то есть Птица-дерево допустимо, да, а там как-нибудь снег или яблоко не очень. Можно даже использовать какие-то такие непонятные абстрактные названия, да, съел там что-то, что по звуку похоже на название какого-то фрукта или овоща, но что конкретно непонятно, да, то есть. То есть суть такая, да, при первом прочтении читатель не должен понять в целом, да, что здесь-то происходит в другом мире, вообще где и что как происходит, но при повторном прочтении он должен находить какие-то разбросанные детали, крошки, которые мы ему подкинули, которые ему позволят восстановить общую картину, да, но эти детали должны быть очень дозированы, да, их должно быть очень мало. Они должны быть разбросаны по тексту, чуть-чуть, добавляя напряжения, да? И на самом деле рассказ должен быть написан так, чтобы при съемке достаточно подробном изложении большую часть событий оставалось за кадром, да? Ну, например, детали отношений между главным героем и главной героиней. Мы и мы понимали о том, что между ними происходит, скорее по намёкам каким-то, да, по жестам, оговоркам, Взглядом. Вот. Значит, общий сюжет такой, да? Молодой человек живет в некоем тоталитарном государстве. Он сам это не осознает, которое одержало лет пятнадцать назад крупную военную победу. Он... не нужно про учитель я там то есть это всё мне должно быть наверное намёками подаваться тонкими тонкими из текста соответственно молодой человек рей Он возвращается домой с работы, он работает учителем, он возвращается домой из школы поздно и на краю леса, да? А он называет это большой лес, потому что в стране все еще как бы- Позруха частично, да, и, как бы, неподалёку есть такие слабо контролируемые территории, конечно, города они контролируются патрулями там и так далее, да. Ну, в общем, есть такие серые зоны, и, в принципе, окраинные города к ним относятся. Вот. Ну, в принципе, он не боится, он и делает, и размышляет о своей любимой родине, да. Да. А войну ещё важный момент забыл аа его государство вело с некими, ну тоже, другими народом, государством, в общем, которого они называют Айса. аа в чем, аа что, что конкретно это за-за Айса и вообще детали, ну как бы скрыты, да, это все мы не по-не показываем, да, это все, ну мы исходим из того, что герой поговаривает себе о нем, аа и мы наблюдаем за ним как бы изнутри, да, потому что он, не есть у меня приветствие от первого лица в прошедшем времени да я шел я увидел я подошел а герои соответственно Да, ладно, продолжаем. Да, ну, и я хотела просто сказать, что нужно вести повествование так, что, э, да, герой не будет сам себе объяснять какие-то

понятные базовые вещи, да, в лоб, ну, потому что для него это самоочевидно, да, и для того, чтобы создавать такую, а- Атмосферу, да, рассказа мы не должны все это прописывать прямыми словами, да, это все должно даваться через действия, через намёки, через то, что он видит, внутренним голосом комментирует что-то, но всегда за этим должен считываться слой, который мы не проговорили. И, и в целом, вот про то, что я писал про войну, про АИСОФ и так далее, это не должно ничего проговариваться, а это все должно идти за одним фоном, вытекать из каких-то, читатель должен постепенно учитывая, как мозаика, да, должна складываться картинка из каких-то случайных отговорок, недосказанностей, брошенных фраз и так далее. Вот, ну, в общ Ну, какие-то простые базовые подсказки можно дать, тем более учитель работает учителем в школе, да? И одну сцену можно сделать в школе, когда он с детьми общается в кл-в классе, и тут можно дать дополнительный, так сказать, набор фактов, чтобы учителю было больше сформировано более понятно лицо. Ну вот. Значит, э-э- Суть в том, что, да, эти айсы и государства были уничтожены, да, они рассеяны, условно говоря, да, и они как-то где-то выживают, да, внутри страны, да, на подконтрольных территориях. Эти айсы находятся, по сути, на положении там крепостных рабов, а на- Как бы, ну, многие из них просто живут в каких-то саморазорённых посёлках, не знаю, в лесах прячутся в развалинах где-то далеко, да? И на них просто не обращают внимания, пока они не создают проблемы с собой. Вот. Ну, опять же, это ещё раз говорю, что это всё прямо не говорится. Это просто для понимания. Да, он молодой человек возвращается и видит на краю дерева девушку, красиво устроенную в какой-то непонятной одежде, такой, в которой мы узнаем камиллонизон, застегнутый на молнию. Он подходит к ней. Да, он сразу он глядит на неё и сразу понимает, что она айс, да? Ну, он себе представляет, что вот она пришла из большого леса, там или заблудилась или что-то. Вот подойдя ближе, он видит, вот, а он только что до этого раз идёт по лесу и думает, что он ненавидит айсов, да, и любит родину, вообще, да. Я всегда любил родину и ненав из его ненависти, как он ей рассказывает, да, то есть он видит девушку, понимает, что ее она Айз, да, сначала, вот, замешательство, да, с одной стороны, он чувствует ненависть какую-то к ней, но не к ней, а вообще к Айз, да, с другой стороны, она его притягивает, ну, тем более она там очень красивая, и она сидит там, у нее, когда он подходит Ровь-тчёт из виска, да, что её там. Либо стукнули, либо что-то с ней, да, а, там, часть, а, комбинезона там обгорела, порвана, а, вот. Ну, и он понимает, он себе объясняет, что это пытаюсь сбился, или вот, пришёл из большого леса, вот, и его кто-то там обидел, вот, она сидит. И он понимает, Следовательно, ну, её увезёт ребята. Подсознательно Рей конечно понимает, что скорей всего с ней случится, да, что правее в лучшем случае в концентрационной лагере, а в худшем куда хуже. Но, конечно, он это называет санитарным службом. Ну, опять же, это не надо проговаривать, это должно. Ну и плюс с учетом положения айсев, да, в обществе уже принято их достаточно активно эксплуатировать, ну как бы ему вдруг смотрит девушка, она ему нравится, он конечно боится себя признать в том, что она там привлекательная, красивая и так далее, да, он всегда для себя придумывает постоянные отговорки, что ему

жаль ее, что он проявляет милосердие, поэтому как бы рассказ, так называемый. и он её соответственно отходит видит что она дезориентирована да держится за голову понимает что она её ударили а если причём с жителями страны говорят на одном языке и он соответственно хотя нет наверное может на разных Нет, наверное, разных, всё-таки разных. И он к ней обращается, она его явно не понимает, да, и вообще ничего толком сказать не может, дезориентирована, но она улыбается ему, да, она смотрит на него, улыбается, сидя под деревом, когда он протягивает ей руку, она тоже идёт, поднимается ему на встречу, хотя и ушатает, ну, подхватывает. Вот. Ну, то есть он какое-то время колеблется, вызвать ли ему санитарную службу, и потом, соответственно, решает все-таки забрать ее к себе домой, тут у него дом не вдалеку, он приводит, у него небольшой отдельный домик, двух-этажный. Вот. Ну, забегаю вперед, скажем, что у него география такой, что, смотря на то, что он работает простым школьным у Тем не менее отец у него занимает какую-то серьезную должность в безопасности, в госбезопасности или в полиции и, соответственно, все время его зовет куда-то служить родине, но он предпочитает работать с детьми в школе. Хотя конечно, он называет это, что ему кажется, что он больше пользы принесет детям, да, обучая, чем бегаем там за какими-то преступниками. Но внутренне мы понимаем, да, где-то, хотя он это боится, сам себе признаться, что он все-таки испытывает дискомфорт от всего того, что происходит, от насилия и так далее. Вот, поэтому он выбрал себе такое. Сложно без-опасна профессия, но это опять же мы не проговорим, это вообще не должно проговариваться. Вот, соответственно, он девушку приводит к себе домой, пытается с ней говорить, она ничего ему не может ответить, да, он понимает, что язык она не знает, это его немножко удивляет, телеспец обычно более-менее. хоть сколько-то говорят. Ну, он еще все как бы думает, что причиной травма головы девушки, да, что она забыла, что-то забыла, наверное, где. Вот, он приводит ее и, значит, как бы думает, что с ней делать дальше, да? Она грязная, порванная кимоно, она решает её раздеть, она смотрит на него с удивлением, то есть она вроде как подчиняется во всём, да, но, скажем так, ну, скажем так, пытается, с одной стороны, держать дистанцию, с другой стороны, вообще понять, что с ней, ну, то есть она дезориентирована, но, э-э-э- Ну, то есть, как бы, он, ну, а он, ну, он к ней относится как к какому-то неосознательному ребёнку, да? Ему кажется, что вот её нужно взять за ручку, она ему кажется совершенно самостоятельной и, как бы так сказать, потерявшей субъектность, да? Он её раздевает, понятное дело, у него какие-то нарративы есть к этому. Так сказать, интенсивно. Но не столько из-за этого, да, он хочет ее помочь, привести в порядок, обработать рану, посмотреть, все ли у нее хорошо и так далее. Вот. Ну, после, так сказать, небольшой такой недомолвки, она подчиняется, там, он ей ведет в ванну, она там моется ванной. Ну, он при этом как-то, он чуть, видя, что она не знает языка, Хорошо, то есть какие-то простыми словами. А, да, еще забыл, до этого он, конечно, с ней знакомится. То есть он говорит, что он Рей, спрашивает ее имя, она не очень понимает, он называет ее Лея, да? Говорит, я Рей, а ты будешь Лея. То есть как бы он еще и дает ей имя, да. То есть во всех символических смыслах показывает свой полный контроль и владение. Вот. Ну,

работать рано ей, вот когда она уже выходит из ванны там даёт какую-то одежду такую, кормит, и потом запирает на спальне на втором этаже и ложится спать, да, ну, примерно так. Конец первой сцены, следующая сцена. Это следующий день, он в школе, вот и рассказывает, и тут можно чуть больше дать контекста про его, соответственно, историю, рассказывать про Айсев. Но класс ему достался какой-то сложный, экспериментальный, шестой, который задает какие-то провокационные вопросы, которым а-а кто-то такие, то есть, точнее сказать, они, ну, он говорит, что родина должна всех заботиться там, а байсах, да, ну, то есть, такого плана провокационные вопросы о месте айсах в обществе, да, о том, как с ними правильно относиться, вот, а-а, разрывается, он говорит, что айсахи не люди, но нельзя относиться как к людям. То есть начинается. И самое главное, да, что у него на самом деле, а-а, вот можно опять этой сцене показать, а-а, опять же фоном буквально, что у него там, знаешь, зачесалась рука, на которой, а-а, остатки наколки лагерной, да, чтобы читатель понял, да, что в детстве сам, а-а, Рэй находился в лагере в каком-то там концентра Ну то есть как бы тут, что, показать сложности, неоднозначность всей ситуации, да, то есть причины этой войны мы не знаем и об этом мы не говорим, понятно дело в глазах Айса, ой, в глазах Ирэя, он конечно, его страна права, но, ну то есть он, ну как бы, говорит какие Айсы. плохие, рассказывают все там ужасы, которые они совершили. Но при этом, да, говорит, что долг каждого человека это ненавидеть айс, да, ну, то есть они явно у себя в этом обществе представляют люди, люди, граждане, жители страны, айс это не люди. Нельзя, конечно, внешне отличить. Но когда он говорит, это все детям, он чувствует какую-то раздвоенность, да, он, сказав, вспоминает Он детям только что прямо сейчас говорит. В общем, в Никонсумбури находится, я думаю, третья сцена уже спустя несколько дней, и как Барри сам себе расскажет о прогрессе, как он-то который произошел. с Лей, да, что она уже, конечно, себя чувствует, что она очень быстро начала учить язык, что продвигается в обучении языка с поразительной скоростью, да, вот. Он сидит с ней, разговаривает, смотрит на неё, она очень красивая, любит её. Ну тут надо подумать в какой момент конкретно, может быть в этой сцене, а может следующей, то есть возможно разговор о Раисле, можно показать, хотя нет, наверное затягивать не имеет смысла, это просто одна сцена, да? Может быть через неделю примерно. Ну то есть как бы и о Лея, да, его, ну, несколько ломаном, но уже в очень хорошем языке, да, очень удачно. Чтобы уварить чай какие-то детские книжки со словами. В общем, удивительно быстро всё вскакивает, это его поражает. В доме, возможно, начало дублироваться там, дома всё убрано, посуда, помыта и так далее. Ну, то есть в доме слей, слей. Стол, тепло, ю-ю, да? И опять же, из контекста мы должны понять, опять же, с тонким, опять же, намёков, это прямо не приговаривает, что у Рэйс-лей, скорее всего, есть и сексуальные отношения. Ну, он ей коспоряется, скажем так, как добрый, заботливый хозяин. Он чувствует себя полновластным хозяином, и ему кажется, что это все абсолютно нормально, естественно, он в своем праве. И, ну, а, Рассказывают, что она айс, да, айс и не люди. То есть она выслушала, там, заплакала, расплакалась, сказала, я, конечно, что я так и предполагала примерно. Ну, в общем, такую какую-то драматическую

историю скрыть. Вот. Потом, я думаю, следующая сцена - это уже разговор Рэя с отцом, да? Ну, может быть, тут коротенькая какая-нибудь сцена, ну, чем большая, ну, может быть, как-чуть добавить о, о, описания жизни вообще, быта, может быть, он едет на метро, смотрит, также как там, а, люди едут в метро, видят автобусы, общественном транспорте, и многих рядом, там, айссы, ну, и не рядом, может быть, для айссов, я думаю, Это идут, идти отдельные загончики в автобусе, да, но кто с семьей, с семьей едет, они садятся сзади, да, люди спереди садятся, а если там несут тяжелые вещи, там что-то помогают, еще что-то, так, ну, вот. Ну, и Рейна это смотрит и вдруг начинает себя ловить на мысль, что он смотрит на это чуть-чуть другими глаз Слей, сначала ему хотелось, да, вот он идёт по городу, по красивому парку, допустим, да, котсу идёт, и всё как бы хорошо, ему всё нравится, и он думает, во, как бы здорово было бы здесь прогуляться с Слей, только жалко, что она не зарегистрирована, да. Ну, это ещё в фону можно, в ранних, в более ранних сценах стоять, что её надо зарегистрировать, да, сейчас И вот он идёт по красивому городу, допустим, там хорошая погода, солнце, вот, и думает, что как здорово бы с Лей было бы здесь прогуляться, а потом там садиться в автобус или куда-то и смотреть, как там, и думать, что получается, я бы сидел бы здесь впереди, а она бы сидела сзади, и как-то ему становится немножко некомфортно от этой мысли. Ну Ну и имеет тяжелый разговор, да, то есть он просит отца помочь в легализации, да, отец, конечно, против, он говорит, что она дрянь, вообще что она а-а-ас, и вообще их нужно уничтожать, санитарную службу и так далее. Ну, в общем, какой такой эмоциональный разговор. Рэй говорит, что он не так часто обращался к отцу за помощью, вот. Ну, в общем, короче Рей радостный, получив разрешение на регистрацию Лей, Лей возвращается домой, ну или просто выходит из кабинета отца и радостно идёт к отцу домой. Следующая сцена это уже Рей и Лей будут соответственно регистрироваться в конспиратора. Ле идёт, она в принципе впервые, в городе, да, это уже вечеряет, ну как бы ещё время есть перед закрытием, закрытием, она смотрит по сторонам, с удивлением рассматривает, да, может быть она там, они встречают какого-то полицейского, которого Ле долго смотрит, да, а полицейский там начинает бегать, понимая, что она айс. представитель домов на таскилите говорит, смотрите, смотрите на него там, не знаю, глаза пусть и чё-то такое, а леон не может понять, что происходит, но подчиняется. ну, наконец, они заходят к инспектору. инспектор такой очень бездушный, такой, очень равнодушный. Ну, воспринимает, понятное дело, лейка к веш, заставляет её раздеться, осматривает, может фотографировать, там, что-нибудь, смотрит, что у неё нет никакого клемма, говорит, что по инструкции клемма надо ставить на лоб, ну, он говорит, может на руку, инспектор скабрзено хмыкает и ещё говорит, ну ладно, конечно, можно и на руку поставить, распотри сухомыкой. Докажу стерилизацию. Вот, Лея стоит при этом разговоре, наверное, безоблачно, смотрит в пол или в стену, индифферентно. Наконец, ну, оклеменение это специальный прибор, как говорят, там, цифры набираешь, раскаляешь номер и... Прижигает кожу, да? И инспектор ещё просит ради помочь, поддержать лей, чтобы она не вырвалась. Вот. Ну, когда происходит всё, да, полено мясом запахло, но лей фактически издала не звук, а не...

почти не дергалась, чуть задрогнула, лоб уперлась, ну то есть она конечно понимает, к чему все идет, ну в общем подчинилась. И Кай, Кай чувствует, опять же, то есть с одной стороны, это свобода, ему кажется, с одной стороны, что все происходит, происходящее правильно, потому что, ну, как положено. Айсе нужно зарегистрировать, клиент и все, наконец, у Лены будет, у Лены будут все документы, не сможет ходить, гулять, и вообще все будет, все теперь будет хорошо и спокойно. Ну, все-таки от этой сцены он чувствует какую-то непонятную неловкость и какое-то внутреннее непонимание, что. Ну, Лена ничего не говорит, он помогает ему одеться. У меня рука болит, благодарит его, что я ей даже мазь какую-то заранее преподнесла, даёт, чтобы она помазала жжёт. Ну и в общем. А инспектор, да, он комментирует собачку. Хорошая девочка, за то что она там не делала с лишним в таком духе, а то есть относится к ней очень Ну понятно, да, как вещи, как животному, как росомaxe. Когда они выходят на улицу, они идут, да, Лей молчит, Рей не очень понимает, что происходит, да, и вот это молчание как бы его начинает искорблять, и злить, да, ему-то кажется, что всё закончится хорошо, Лей в конце регистрации, а можно уходить теперь на законных основаниях. С ним ничего не случится, санитарная служба едет с приложенным избирателем, пока на него не лежит, и ему только кажется, что он радуется этой ситуации, хотя конечно с другой стороны он должен понимать, что это не то никак и от этого начинает удивляться. И вдруг они видят дом против, в котором-то Он подходит, выскакивает. Человек и убивает мальчика, какого-нибудь, тоже с клеймом на лбу, тринадцатилетнего, и начинает, не знаю, избивать розгами. Явно разгневан от чего-то. Ну, то есть, ну и, Что с айсами взять, они такие криворукие, все у них, все роняют, все ломают, ну и понятно, надо воспитывать, да? Вот. Ну, розги для того существуют, чтобы воспитывать айсовых. И вот. Ну, ему не очень приятно это смотреть, но он лев, хватает за руку, пытается, пытается перейти за другую сторону улицы. Как-то подсознательно Ну, она вдруг останавливается, отходит к этому горячеству, оставьте его, видите. Вот старик, ой, этот, этот, этот, э, мужчина, который сбивает Айса, он разъяряется, видит, что смотрит на лев, понимает, что на Айса. Ну, тоже тут, э, важный момент, это отдельно проговорить надо, что-то. Мы не будем раскрывать, чем айс о visually отличается от людей. По большому счету они ничем не отличаются, да? Все, на самом деле, внутри условно говоря общества этого, они понимают по поведению, по одежде, по положению тела, да, айс это иль не айс. Ну то есть там климо это чисто вспомогательная какая-то. Но на самом деле, конечно, ничем люди от айса не отличаются. Но мы это проговор в целом, да, вдумчивый читатель должен сделать такой вывод, что, в самом деле, айс от людей ничего не отличается. Вот. Все, все это узнавание в кавычках это просто выученное, так сказать, положение и тип поведения. Вот. Ну и когда Лия, так сказать, говорит: «Оставьте его». Он смотрит, ну, еще, может быть, такие лимоны в руке замечательные, понимаешь, что ли, айс, а, ну, это его, конечно, этот, э, мужчина, который разбивал мальчика, от бешенства взрывается, вот, как-то пытается уладить конфликт, и его оттаскивают, говорит: "Нет, нет, все, все, все, хорошо". "Ой, мы п Это самый мужчина начинает замахиваться на мальчика снова, да, и тут Лея импульсивным ловким движением его без-

движит, рубит розги или просто ну проводит какой-то силовой прием и падает этот мужчина от боли на мостовую херпья. Вот Лея берет мальчика за руку и поднимает. Вот все, конечно, смотрят с ужасом, с удивлением, вдруг раздаются свистки с двух сторон, да? Бегут патрули полицейские с двух сторон, с одной стороны четыре человека, с другой стороны три человека, они паникуют, они вообще не понимают, что делать, они там уже дубинки наберут, они к ним подбегают, а дальше Лей видит, как все замедленные съемки, да, Лей вдруг превращается короткими точными ударами, быстро двигаясь, да, она вырубает всех полицейских, вот, достаточно жестко, вот. А, но не смертельно. И буквально спустя минуту, когда все это быстро заканчивается, присматривает с ужасом на все, да, на картину избитых, так сказать, полицейских, стонущих. Мужчина этого, да, сейчас вообще приедет и что-то случится, вообще непонятно. Он хватается за руку, говорит бежим, она хватается мальчика. В общем, они начинают убежать в панике, не понимая, куда бегут, а дальше где-то продолжают раздаваться свистки полицейских. И наконец, финальная сцена, которая полностью меняет оптику и вообще все восстановил. Тут уже изложение от имени двух пилотов, двух пилотов инопланетного разведывательно-спасательного крейсера, назовем их, и у них явно такие земные, например, Дэвид и Саймак, ну, не знаю, подобрать. Это типичные имена, вот они летят, их показывают, да, что разведывательный катер палит над большим городом непонятным, да, и они между собой обсуждают, что там две недели назад, там десять дней назад тут отсюда пришел сигнал аварийный, катера какой-то разбился, произошла какая-то авария, да, но Ну, допустим, не обсуждают, что высадились там с корабля, который пришел на сигнал, да, сойдя с маршрута. Не обсуждают, как лучше искать пилота, да, чтобы планета оказалась обитаемая, что пилоты в таких ситуациях должны, если звук попал в обитаемую планету, должны. Прятаться, да, оставаться незамеченным, ждать, пока тебя обнаружат. Ну, маяк не работает. Ну, тут надо подумать, на самом деле. Работает маяк или не работает? А может и работает маяк. Наверное, маяк работает. Они летят на сигнал Найка и, может быть, они обсуждают, в какой момент лучше делать высадку и подобрать пилота, да? Ну, они пытаются связаться, рация не отрабатывает, да, допустим, то есть они понимают, что... У них есть только маяк, сигнал слабый очень маяка или допустим, что сигнал маяка, да, наверное, нужно прискакивать, они летают над городом, делают, наворачивают круги, ищут этот сигнал маяка, потому что он очень слабый, пытаются засечь пираты, когда уже там, непочти отчаянно, может быть, они наоборот с высоты наблюдают вот эту вот ситуацию, что там в городе, вдруг начали по Везде ездят сирены, они с удивлением начинают, один из них говорит, давай-ка по-ниже спустимся, а другой говорит, давно, чё, мы тут уже два дня ищем этот маяк, никак нельзя ли сливаться, слишком слабый сигнал, а может что-то случилось. Вот. Ну то есть общая идея в том, что сигнал катера, после сигнала со с катер, он уничтожился, похоже или сам он уничтожился, Ну, по идее, он должен уничтожаться, я думаю, в технологических мирах четвертого уровня. Смотрится тем, что происходит, пытаются найти пилота примерно в этой элли, уже, допустим, там много часов, даже пару дней, кружит, но им, чтобы зарегистрировать маяк, славить, нужно полететь там

не меньше чем на, там, километр или два километра. Вот. Ну, вид-видит, вот эту тюрьму какая-то внизу, это уже вечер, допустим, да, уже темнеет, вот, сцена по всему городу и району, это не с удивлением. Думают, ну, один другого уговаривает, давай, спустимся, посмотрим, а второй говорит, да, ну, давай на базу, возвращаемся, ну, база не отсюда, на орбите корабль. Хотя нет, нет, это неправильно. Спасательная команда так не будет делать. В общем, решают они спуститься, решают они спуститься пониже, ловить сигнал. Ну, понятное дело, да, и летят, и, допустим, они... спускаются на Д-лей-Р и этим мальчикам в самый последний момент, когда их там уже полиция отгружена, там, может быть, отгружена, может быть, поставили там на них автоматы или там что-то такое, да? Вот. А может быть, след продолжает сопротивляться, может там десять тел валяется, но там уже, уже на подходе, там, не знаю, со щитами и дубинками бегут. Ну, тут надо подум. Как лучше сделать динамичнее. И они видят это, да, и они, допустим, выпускают какой-то специальный газ или нетоксичное излучение, вот. И все вокруг, соответственно, падают, да. А Рис с мальчиком с ужасом и с удивлением смотрит на спускающийся спасательный катер. человеческие земные, да? И, а, открывается апрель, люк, вот и они Лею зовут, Лея, берёт этого мальчика за руку, делает шаг к кораблю, потом поворачивается и... Поворачивается к ней и протягивает ей руку. Ну, как бы призвать её с собой. Ну, я думаю, на этом рассказ можно закончить, да? То есть, оборваться. Рассказ, чтобы было понятно, что вот Египет внутри, и что вот это всё закончится. Вот. Ну, понятно, да, что Лея на самом деле оказалась инопланетным пилотом, который попал в аварию, которая была вынуждена... скрываться. Вот она на самом деле не теряла память, да, она просто старалась сильно не выделяться, да, и не вызывать подозрений максимальным способом, вот. Но с Раем, скажем, у неё с ним сложились такие, то есть, отношения, то есть, соотношения. ему благодарна за помощь, да, с другой стороны ей его просто жалко было, поэтому она, скажем так, подчинялась ему и, и пыталась его, и, ну, читатель должен понять, что во время тех как бы бесед, которые там одно, одно, можем показать, чуть более подробно, а, ну, как бы она пыталась гуманизировать, так сказать, поставить задуматься в этом плане. наивными, наивными провокационными вопросами вообще. Ну то есть что она, ну как бы у читателя должно возникнуть финальное ощущение, да, что она на самом деле все это время держала всю ситуацию под контролем. Ну опять же, это никогда не надо проговаривать, это должно из- просто из фактов, становится понятно. Что она держала ситуацию под контролем и просто действовала таким образом, потому что, ну, во-первых, понятное дело, хотела минимально проблем создавать о себе и всем вокруг. С другой стороны, ей казалось, что она так просто, наверное, сможет, ну, скажем так, переспитать. А я жалела, она так поступала из милосердия. Ну, то есть Чтобы донести до здесь, что Снегурочка пожалела её, на самом деле скорее она его пожалела. Вот. Конец рассказа.



## Ваша писательская ИИ-студия

Надиктуйте замысел или принесите черновик — PromptyFlow поможет собрать мир, сюжет и текст, сохраняя ваш голос.

**[promptyflow.com](https://promptyflow.com)**